

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



С 16

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

A stylized eye logo with a large pupil and a curved eyelid, positioned behind the title text.

ПРЕМУДРЫЙ
ПЕСКАРЬ

СКАЗКИ

МОСКВА • «Детская литература» • 1973

P1
C16

Составление, вступительная статья и примечания
М. С. ГОРЯЧКИНОЙ

Рисунки
М. СКОБЕЛЕВА и А. ЕЛИСЕЕВА

84618

694923 12.12.60
Российская государственная
детская библиотека

С $\frac{0763-324}{101(03)73}$ 604-73

254

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"Детская литература"
БИБЛИОТЕКА

БОЕВАЯ САТИРА

В жанре сказки наиболее ярко проявились идейные и художественные особенности щедринской сатиры: её политическая острота и целеустремлённость, реализм её фантастики, беспощадность и глубина гротеска, лукавая искромётность юмора.

«Сказки» Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего творчества великого сатирика. Если бы, кроме «Сказок», Щедрин ничего не написал, то и они одни дали бы ему право на бессмертие. Из тридцати двух сказок Щедрина двадцать девять написаны им в последнее десятилетие его жизни (большинство с 1882 по 1886 год) и лишь только три сказки созданы в 1869 году.

Сказки как бы подводят итог сорокалетней творческой деятельности писателя.

Перед читателем вновь возникают знакомые образы щедринских помпадуров — правителей России (сказки «Бедный волк», «Медведь на воеводстве»), эксплуататоров-крепостников («Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»), врагов революции — охранителей существующего порядка («Вяленая рыба»), трусливых, продажных либералов («Либерал», «Обманщик-газетчик и легковёрный читатель»), обывателей, смирившихся перед реакцией («Премудрый пескарь», «Самоотверженный заяц», «Здравомысленный заяц»), образы жестоких и тупых самодержцев России («Богатырь», «Орёл-меценат») и, наконец, образ великого русского народа — труженика-страстотерпца, накапливающего силы для решительной борьбы («Коняга», «Ворон-челобитчик», «Баран непомнящий» и многие другие).

Зоологические маски не скрывают политической сущности этих излюбленных щедринских образов, а, наоборот, подчёркивают и даже обнажают её.

К сказочному жанру Щедрина прибегал в своём творчестве часто. Элементы сказочной фантастики есть и в «Истории одного города», а в сатирический роман «Современная идиллия» и хронику «За рубежом» включены законченные сказки.

И не случайно расцвет сказочного жанра приходится у Щедрина на 80-е годы. Именно в этот период разгула политической реакции в России сатирику приходилось выискивать форму, наиболее удобную для обхода цензуры и вместе с тем наиболее близкую, понятную простому народу. И народ понимал политическую остроту щедринских обобщённых выводов, скрытых за эзоповской речью и зоологическими масками.

С глубокой горечью, узнав о смерти Щедрина, тифлиссские рабочие писали его семье: «В его последних душёвных сказках, которые мы любим и понимаем лучше других рассказов, мы видим ясно тёмные и непонятные доселе стороны окружающей нас жизни. Эти сказки так действуют на душу читателя, что у иных даже слёзы показываются на глазах, видя горе и обиды беззащитного человека. В особенности нам нравятся... «Путём-дорогою», где мы видим родственных себе рабочих, горемык безвинных; «Коняга», «Соседи», «Христова ночь», «Карась-идеалист» и другие. Кто не полюбит эти сказки, кто не поймёт, что автор их любил и жалел простой народ? Он знал и чувствовал наше горе и видел, что мы всю жизнь свою проводим в тяжёлом, беспросветном труде, не пользуясь плодами его. За Его любовь к нам и ко всему честному и справедливому мы посылаем ему своё сочувственное прощальное слово и как человека с благородной, любя-

шей душой, друга угнетённых, борца за свободу, провожаем глубокой грустью».

Мы видим, что уже при жизни своей Щедрин стал духовным вождём не только для прогрессивной русской интеллигенции, но и для трудового народа. Создавая свои сказки, Щедрин опирался не только на опыт народного творчества, но и на сатирические басни великого Крылова, на традиции западноевропейской сказки. Он создал новый, оригинальный жанр *политической сказки*, в которой сочетаются фантастика с реальной, злободневной политической действительностью.

Сказки Щедрина рисуют не просто злых и добрых людей, борьбу добра и зла; как большинство народных сказок тех лет, они раскрывают классовую борьбу в России второй половины XIX века, в эпоху становления буржуазного строя. Именно в этот период с особой остротой проявлялись основные свойства эксплуататорских классов, их идейные и моральные принципы, их политические и духовные тенденции.

В сказках Щедрина, как и во всём его творчестве, противостоят две социальные силы: трудовой народ и его эксплуататоры. Народ выступает под масками добрых и беззащитных зверей и птиц (а часто и без маски, под именем «мужик»), эксплуататоры — в образах хищников. Символом крестьянской России, замученной эксплуататорами, является образ Коняги из одноимённой сказки. Коняга — крестьянин, труженик, источник жизни для всех. Благодаря ему растёт хлеб на необъятных полях России, но сам он не имеет права есть этот хлеб. Его удел — вечный каторжный труд. «Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования...» — восклицает сатирик.

До предела замучен и забыт Коняга, но только он один

способен освободить родную страну. «Из века в век цепенеет грозная неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет её на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге». Эта сказка — гимн трудовому народу России, и не случайно она имела такое большое влияние на современную Щедрина демократическую литературу. Писатель щедринской школы, революционный народник П. Засодимский в романе «По градам и весям» почти дословно повторяет щедринскую характеристику мужика-коняги, представляя в образе «вечного мужика за своею сохою» всю крестьянскую Россию. «В самом деле, не эмблема ли это земли русской!.. Куда ни глянь — всё он со своей сохой да с жалкой клычей», — думает герой этого романа.

Обобщенный образ труженика — кормильца России, которого мучают сонмища паразитов-угнетателей, — есть и в самых ранних сказках Щедрина: «Как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик».

Показывая каторжную жизнь трудящихся, Щедрин скорбит о покорности народа, о его смирении перед угнетателями. Он горько смеется над тем, что мужик, по приказу генералов, сам вьет веревку, которой они его затем связывают.

Почти во всех сказках образ народа-мужика обрисован Щедриным с любовью, дышит несокрушимой мощью, благородством. Мужик честен, прям, добр, необычайно сметлив и умен. Он всё может: достать пищу, сшить одежду; он покоряет стихийные силы природы, шутя переплывает «океан-море». И к поработителям своим мужик относится насмешливо, не теряя чувства собственного достоинства. Генералы из сказки «Как один мужик двух генералов прокормил» выгля-

дят жалкими пигмеями по сравнению с великаном мужиком. Для их изображения сатирик использует совсем иные краски. Они «ничего не понимают», они грязны физически и духовно, они трусливы и беспомощны, жадны и глупы. Если подыскивать животные маски, то им как раз подходит маска свиный.

А между тем эти свиньи мнят себя людьми благородными, помыкают мужиком, как животным: «Спишь, лежebóк!.. сейчас марш работаты!» Спасшись от смерти и разбогатев благодаря мужику, генералы высылают ему на кухню жалкую подачку: «...рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!» Саркастическое восклицание автора полно глубокого смысла. Сатирик подчеркивает, что ждать народа от эксплуататоров лучшей жизни бесполезно. Счастье свое народ может добыть, только сбросив его тунеядцев.

В сказке «Дикий помещик» Щедрин как бы обобщил свои мысли о реформе «освобождения» крестьян, содержащиеся во всех его произведениях 60-х годов. Он ставит здесь остро проблему пореформенных взаимоотношений дворян-крепостников и окончательно разорённого реформой крестьянства: «Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — всё его стало! Лучины не стало мужику в светёц зажечь, прута не стало, чем избить выместить. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господа бóгу:

— Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!»

Этот помещик, как и генералы из сказки о двух генералах, не имел никакого представления о труде. Брошенный своими крестьянами, он сразу превращается в грязное и дикое животное. И жизнь эта, в сущности, — продолжение его предыдущей.

щего хищнического существова́ния. Внешний челове́ческий облик ди́кий поме́щик, как и генера́лы, приобрета́ет снова́ лишь после́ того́, как возвраща́ются его́ крестья́не. Руга́я ди́кого поме́щика за глупо́сть, исправник говори́т ему́, что без мужицких «по́датей и повинно́стей» госуда́рство «существова́ть не мо́жет», что без мужико́в все умру́т с го́лоду, «на базаре́ ни куска́ мя́са, ни фу́нта хлѣба купи́ть нельзя́» да и де́нег у господ не бу́дет. На́род — созидате́ль бога́тства, а пра́вящие кла́ссы лишь потреби́тели э́того бога́тства.

Представители наро́да в сказа́х Щедрина́ го́рько размышля́ют над само́й систе́мой общественных отноше́ний в Росси́и. Все они́ я́сно ви́дят, что существующий строй обеспе́чивает сча́стье то́лько бога́тым. Вот почему́ сюжет большин́ства сказа́нок постро́ен на перипетия́х жесто́кой кла́ссово́й борь́бы. Борьба́ э́та — основна́я дви́жущая пружина́ собственни́ческого о́бщества. Никако́й гармо́нии, никако́го ми́ра не мо́жет быть там, где о́дин класс живѣ́т за сче́т друго́го, де́ржит наро́д в ка́балѣ. Да́же в том случа́е, е́сли предста́витель пра́вящего кла́сса пыта́ется быть «до́брым», он не в состоя́нии облегчи́ть уча́сть эксплуати́руемых.

Об э́том говори́тся в сказа́ке «Сосѣди», где де́йствуют крестья́нин Ива́н Бе́дный и либерала́льный поме́щик Ива́н Бога́тый. Ива́н Бога́тый «сам це́нностей не производи́л, но о распределе́нии бога́тств о́чень благо́родно мы́слил... А Ива́н Бе́дный о распределе́нии бога́тств совсе́м не мы́слил (недосу́жно ему́ бы́ло), но взаме́н того́ производи́л це́нности». Оба сосе́да с удивле́нием ви́дят, что в ми́ре происхо́дят стра́нные ве́щи: так «хитро́ э́та меха́ника устро́ена», что «ко́торый челове́к постоянно́ в труда́х нахо́дится, у того́ по пра́зdnикам пусто́е щи на столе́; а ко́торый при по́лезном досу́ге состои́т —

у того и в будни ши с убоиной. С чего бы это?» — спрашивают они. Не смог решить этого противоречия и Наибольший (в черновом варианте рукописи «бабушка царь»), к которому обратились оба Ивана. Ответ на этот вопрос даёт деревенский философ Простотыля. По его мнению, противоречие заключено в самом несправедливом социальном строе — «планте». «И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значится», — говорит он соседям.

Замысел этой сказки, как и других сказок Щедрина, именно и состоит в том, чтобы призвать народ к коренному изменению «планта» — несправедливого социального строя, основанного на эксплуатации. Над вопросом о путях изменения общественного строя России тщетно бьются: Лёвка-дурак (в сказке «Дурак»), сезонные рабочие из «Путём-дорогою», ворон-челобитчик из одноимённой сказки, карась-идеалист, мальчик Серёжа из «Рождественской сказки» и многие другие.

Ворон-челобитчик обращается по очереди ко всем высшим властям своего государства, умоляя улучшить невыносимую жизнь ворон-мужиков, но в ответ слышит лишь «жестокие слова» о том, что сделать они ничего не могут, ибо при существующем строе закон на стороне сильного. «Кто одолеет, тот и прав», — наставляет ястреб. «Посмотри кругом — везде рознь, везде свара», — вторит ему Коршун. Таковое «нормальное» состояние собственнического общества.

И хотя «воронье живёт обществом, как настоящие мужики», оно бессильно в этом мире хаоса и хищничества. Мужики беззащитны. «Со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стреляет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевёртываются. Каким таким

манёром случилось, что Губошлёпов доро́гу заполучи́л, а у них по́сле того́ по гривне в кошелё убавилось — разве те́мный челове́к мо́жет э́то пони́ять?..» Все попы́тки «исправле́ния» со́бственнического стро́я обречены́ на неуда́чу, а люди́, наде́ющиеся на кла́ссовую идиллию,— или маскиру́ющиеся враги́ наро́да, вроде буржуа́зных либерáлов, или наивные идеа́листы-утопи́сты. Именно та́ким вы́веден кара́сь-идеали́ст в одионме́нной ска́зке. Ко́ршун из ска́зки «Во́рон-челобитчик» хотя́ был жесто́ким хищником, но он говори́л во́рону пра́вду о зве́риных зако́нах окружа́ющего их ми́ра.

Вреднее́ оказы́вались люди́, стремя́щиеся к примире́нию кла́ссовых противоре́чий, те, кто пропове́довал прихо́д обще́ственной гармо́нии без вся́ких усилíй со сторо́ны угнетённых. Их ве́ра в перестро́йку психоло́гии хищников, в абстра́ктные иде́и добра́ и гума́нности могла́ обезору́жить наро́д. И Щедрин высме́ивает э́ти иде́и в о́бразе прекрасноду́шного фразёра кара́сь-идеали́ста.

Кара́сь не лицеме́р, он по-настояще́му благо́роден, чист душо́й. Его́ иде́и социа́листа заслу́живают глубо́кого ува́жения, но ме́тоды их осуществле́ния наивны́ и смешны́. Щедрин, бу́дучи сам социа́листом по убежде́нию, не принима́л те́ории социа́листов-утопи́стов, счита́л её пло́дом идеа́листическо́го взгля́да на социа́льную действите́льность, на истори́ческий проце́сс. «Не ве́рю... что́бы борьба́ и сва́ра бы́ли нормáльным зако́ном, под влия́нием кото́рого бу́дто бы суждено́ развива́ться все́му живу́щему на земле́. Ве́рю в бескро́вное преуспе́яние, ве́рю в гармо́нию...» — разглаго́льствовал кара́сь. Ко́нчилось тем, что его́ проглотила́ щу́ка, и проглотила́ маши́нально: её порази́ли неле́пость и стра́нность э́той про́поведи.

Изве́стный ру́сский худо́жник И. Н. Крамско́й в письме́

к Щедринѹ — 25 ноября 1884 года — называетъ сказку «Карась-идеалистъ» «высокой трагедіей», подразумевая подъ этимъ крахъ иллюзій социалистов-утопистов (хотя самъ онъ и объявляетъ себя сторонникомъ этихъ иллюзій). Исторія подтвердила прозорливость великаго сатирика.

В нѣихъ варіаціяхъ теорія карася-идеалиста получила отраженіе въ сказкахъ «Самоотверженный заяцъ» и «Здравомысленный заяцъ». Здѣсь героями выступаютъ не благородные идеалисты, а обыватели-трусы, надѣющиеся на доброту хищниковъ. Заяцы не сомнѣваются въ правѣ волка и лисы лишиться ихъ жизни, они считаютъ вполне естественнымъ, что сильный поедаетъ слабаго, но надѣются растрогать волчье сердце своей честностью и покорностью. «А можетъ быть, волкъ меня... ха-ха... и помилует!» Хищники же остаются хищниками. Заяцъ не спасаетъ то, что онъ «революцій не пускали, съ оружіемъ въ рукахъ не выходили». Олицетвореніемъ бескрылой и пошлой обывательщины сталъ щедринскій премудрый пескаръ — герой одноименной сказки. Смысломъ жизни этого «просвещеннаго, умеренно-либеральнаго» труса было самосохраненіе, уходъ отъ столкновеній, отъ борьбы. Поэтому пескаръ прожилъ до глубокой старости невредимымъ.

Но какія это была паскудная, унижительная жизнь! Она вся состояла изъ непрерывнаго дрожанія за свою шкуру. «Онъ жилъ и дрожалъ — только и всего». Эта сказка, написанная въ годы политической реакціи въ Россіи, безъ промаха была по либераламъ, пресмыкающимся передъ правительствомъ изъ за собственной шкуры, по обывателямъ, прятавшимся въ своихъ норахъ отъ общественной борьбы. На многіе годы западали въ душу мыслящихъ людей Россіи страстные слова великаго демократа: «Неправильно полагаютъ те, кои думаютъ, что лишь те

пескари́ мо́гут счита́ться досто́йными гра́жданами, ко́н, обез-
уме́в от стра́ха, сидят в но́рах и дрожа́т. Нет, это не гра́ж-
дане, а по ме́ньшей ме́ре беспо́лезные пескари́». Таки́х «песка-
рей»-обы́вателей Щедрин по́каза́л и в рома́не «Совреме́нная
иди́ллия». Их трусли́вое «годе́нье», выжида́ние, ниско́лько не
лу́чше погро́мов активны́х черносо́тенцев. И те и други́е —
враги́ наро́да, враги́ револю́ции. Таки́ми же врага́ми явля́-
лись и дворя́нские буржуа́зные либе́ралы, ходивши́е в ма́сках
наро́дных защи́тников.

Щедрин саркасти́чески бичу́ет их во мно́гих произведе́-
ниях, осо́бенно в 70—80-е го́ды. В сказа́ке «Либе́рал» он с пре-
де́льной стра́стностью сконцентри́ровал эту не́нависть и пре-
зре́ние. Здесь по́казана эволю́ция либе́рализма от тре́бо-
ваний «по возмо́жности» до бессты́дных де́йствий «примени́-
тельно к по́длости». Програ́мма эта ниче́м не отлича́ется от
програ́ммы воинствующего консерва́тизма вяленой во́блы (из
одноиме́нной сказа́ки), деви́зом кото́рой было́: «Не расту́т у́ши
вы́ше лба! не расту́т!»

Остриё́ сати́ры щедринских сказа́нок было́ направле́но на
разоблаче́ние вся́ких попы́ток буржуа́зных идеоло́гов иска-
зить ха́рактер кла́ссовой борь́бы в Росси́и, внуши́ть наро́ду
ложное представле́ние о социа́льной действите́льности.

Сказа́ки Щедрина́ буди́ли политическое созна́ние наро́да,
зва́ли к борь́бе, к протесту́. «Докóле мы бу́дем терпе́ть? Ведь
е́жели мы...» — грози́т вла́стям во́рон-челобитчи́к от и́мени во-
ро́ньего о́бщества. Наи́более ре́зко и откры́то сарка́зм Щедрин-
на́, его́ политический па́фос наро́дного защи́тника прояви́лся в
сказа́ках, изобража́ющих бюрокра́тический аппара́т самодер-
жа́вия и пра́вящие верхи́ вплоть до ца́ря.

В сказа́ках «Игру́шечного де́ла лю́дишки», «Недрема́нное

око», «Праздный разговор» предстают образы чиновников, грабящих народ. Мастер игрушек Иноземцев демонстрирует перед рассказчиком ряд кукол-чиновников. Ранги и внешность их различны, а сущность одна: они грабители и мучители народа. Жестокие куклы-угнетатели — хозяева жизни! Такова идея этой сказки, как и идея сатирического романа «История одного города», книги сатирических рассказов «Помпадур и помпадурши». «Взглянешь кругом: всё-то куклы! вездё-то куклы! несть конца этим куклам! Мучат, тирания! в отчаянность, в преступление вводят!» — с тоской восклицает мастер Изумеров — единственный человек в этом кукольном царстве. Мысль об антинародности правосудия в собственническом обществе проводится в сказке «Недреманное око». Прокурор Куралёсич — герой сказки — имел два ока: дреманное и недреманное. «Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки». Он был занят охраной «основ государства», искоренял «крамолу», целый день кричал: «Взять его! связать его! замуровать! законопатить!» Преследуя народ, прокурор оберегал от народного гнева подлинных воров и хищников. Когда ему на них указывали, он возмущался: «Врёшь ты, такой-сякой! Это не хищники, а собственники!.. Это вы нарочно, бездельники, кричите, чтобы принцип собственности подрывать!»

В сказках Щедрина раскрывается гнилость основ самодержавного строя, неизбежная гибель эксплуататоров.

Толтыгины из сказки «Медведь на воеводстве», посланные львом на воеводство, целью своего правления ставили как можно больше совершать «кровапролитий». Этим они вызвали гнев народа, и их постигла «участь всех пушных зверей» — они были убиты восставшими. Такую же смерть от

народа принял и волк из сказки «Бедный волк», который тоже «день и ночь разбойничал».

В период политической реакции 80-х годов сказки эти звучали особенно злободневно, без промаха били по организаторам контрреволюционного террора. Вновь и вновь ставит сатирик вопрос о непримиримости классовых противоречий в обществе, основанном на эксплуатации, ибо «не может волк, не лишая животя, на свете прожить». В сказке «Орёл-мечениат» дана уничтожающая пародия на царя и правящие классы. Орёл — враг науки, искусства, защитник тьмы и невежества. Он уничтожил соловья за его вольные песни, грамотея дятла «нарядил... в кандалы и заточил в дупло навечно», разорил дотла ворон-мужиков. Кончилось тем, что вороны взбунтовались, «снялись всем стадом с места и полетели», оставив орла умирать голодной смертью. «Сие да послужит орлам уроком!» — многозначительно заключает сказку сатирик.

С необычайной смелостью и прямоотой о гибели самодержавия и неизбежности революции говорится в сказке «Богатырь». Сказка эта при жизни Щедрина не могла быть напечатана и увидела свет только после Великой Октябрьской революции. Щедрин высмеивает здесь веру в «гнилого» Богатыря, отдавшего на разгром и издевательство свою многострадальную страну. Иванушка-дурачок «перешёл дупло кулаком», где спал Богатырь, и показал всем, что он давно сгнил, что помощи от Богатыря ждать нельзя.

Все сказки Щедрина подвергались цензурным гонениям и многим переделкам. Многие из них печатались в нелегальных изданиях за границей. Этими изданиями и пользовались русские революционеры, ведущие пропаганду в народе.

Маски животного мира не могли скрыть политическое содержание сказок Щедрина. Перенесение человеческих черт — и психологических и политических — на животный мир создавало комический эффект, наглядно обнажало нелепость существующей действительности.

Фантастика щедринских сказок реальна, несёт в себе обобщённое политическое содержание. Орлы «хищны, плотоядны...». Живут «в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают» — так говорится в сказке об орле-меценате. И это сразу рисует типические обстоятельства жизни царственного орла и даёт понять, что речь идёт совсем не о птицах. И далее, сочетая обстановку птичьего мира с делами отнюдь не птичьими, Щедрин достигает высокого политического пафоса и ёдкой иронии. Так же построена сказка о Топтыгинных, пришедших в лес «внутренних супостатов усмирять».

Не затемняют политического смысла зачины и концовки, взятые из волшебных народных сказок, образ Бабы-Яги, Лешего. Они только создают комический эффект. Несоответствие формы и содержания способствует здесь резкому обнажению свойств типа или обстоятельства.

Иногда Щедрин, взяв традиционные сказочные образы, даже и не пытается ввести их в сказочную обстановку или использовать сказочные приёмы. Устами героев сказки он прямо излагает своё представление о социальной действительности. Такова, например, сказка «Соседи».

Сюжет некоторых сказок несёт в себе элементы драматизма. Щедрин раскрывает трагедию представителей общественнического общества, которых, как и Иудушку Головлёва, окончательно добивает проснувшаяся совесть («Бедный волк»,

«Христовá ночь», «Чйжиково гóре»). В éтом сказа́лись про-
светительские чертý мирозозрénия Щедрина́.

Язы́к щедринских сказа́зок глубоко́ наро́ден, бли́зок к ру́с-
скому фольклóру. Сати́рик испóльзует не то́лько традициóн-
ные сказа́чные приёмы, о́бразы, но и посло́вицы, погово́рки,
при́сказки («Не да́вши сло́ва крепíсь, а да́вши — держíсь!»,
«Двух смертéй не бывáть, одной не миновáть», «Уши вы́ше
лба не растúт», «Моя избá с кра́ю», «Простотá хýже воров-
ствá»). Диалóг дéйствующих лиц кра́сочен, речь рисúет кон-
крéтный социáльный тип: вла́стного, гру́бого орла́, прекрас-
ду́шного карася́-идеалиста, зло́бную реакционёрку вóблущку,
ханжú попá, беспúтную канарéйку, трусли́вого зáйца и т. п.

Иной язы́к у персона́жей, олицетворя́ющих трудовóй на-
ро́д. Их речь естéственна, умна́, лакони́чна. Это речь челове́ка,
а не ма́ски, не кúклы. Им сво́йствен глубо́кий лири́зм, слова́
их идúт от страда́ющего и до́брого сёрдца. Примéром того́
мо́жет служи́ть диалóг из сказа́ки «Путём-доро́гою», «Вóрон-
челобитчик» или из сказа́ки-элегии «Приключéние с Крамóль-
никовым». В сказа́ке-элегии геро́й изливáет свою́ дúшу, упре-
ка́ет себя́ в отрыве́ от активнóго революциóнного дéйствия,
признаёт, что его́ мéсто в ря́дах идúщих в бой за наро́дное
дéло. Это мы́сли само́го Щедрина́.

Образы сказа́зок вошл́и в обихóд, ста́ли нарицáтельными и
живúт мно́гие десятилétия, хотя́ в на́шей странé исчéзла со-
циáльная систéма, порожда́ющая их. Знако́мясь с н́ми, ка́ж-
дое но́вое поколénие на́шей рóдины познаёт не то́лько истóрию
своёй страны́, но уч́ится распознава́ть и ненави́деть их чертý
в современ́ном капиталистическом ми́ре.

М. Горáчкина



ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре: там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненáдобностью и выпустили генерáлов на волю. Остáвшиеся за штáтом, поселились они́ в Петербурге, в Подьяческой у́лице, на рáзных квартирах; имéли кáждый свою́ кухáрку и получáли пéнсию. Тóлько вдруг очути́лись на необита́емом о́строве, просну́лись и видят: óба под одним одея́лом лежáт. Разуме́ется, сначáла ничегó не пóняли и стáли разговáривать, как бóдто ничегó с ними́ и не случи́лось.

— Стáнный, вáше превосходíteльство, мне нýнче сон сий́лся,— сказа́л один генерáл,— вижу, бóдто живу́ я на необита́емом о́строве...

Сказа́л это́ да вдруг как вскóчит! Вскóчил и друго́й генерáл.

— Гóсподи! да что же это́ такое! где мы!— вскрикнули óба не своим гóлосом.

И стáли друг дру́га ошúпывать, тóчно ли не во сне, а наявú с ними́ случи́лась такая́ о́казия. Одна́ко, как ни старáлись уве́рить себя́, что всё́ это́ не бóльше, как сновидéние, пришлóсь убедíteься в печáльной действите́льности.

Перед ними́ с одной́ сторонý расстилáлось мóре, с друго́й сторонý лежáл небольшо́й клочóк земли́, за котóрым стлáлось всё́ то же безграницное мóре. Запла́кали генерáлы в пёрвый раз пóсле того́, как закры́ли регистрату́ру.

Стáли они́ друг дру́га рассмáтривать и уви́дели, что они́ в ночных рубáшках, а на ше́ях у них висит по о́рдену.

— Тепéрь бы кофейку́ испить хорошó!— мо́лвил один генерáл, но вспóмнил, какáя с ним неслы́ханный штúка случи́лась, и во второ́й раз запла́кал.

— Что же мы бóдем, одна́ко, дéлать?— продолжáл он сквозь слéзы.— Ежели тепéрича доклáд написáть— какáя пóльза из это́го вы́йдет?

— Вот что,— отвеча́л друго́й генерáл,— подíte вы, вáше превосходíteльство, на востóк, а я пойду́ на зáпад, а к вéчеру опя́ть на это́м мёсте сойде́мся; мо́жет быть, чтó-нибудь и найде́м.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое. Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистра-туре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство; вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, кото-рый, кроме регистратуры, служил ещё в школе военных канто-нистов *¹ учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошёл один генерал направо и ви-дит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет ге-нерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, толь-ко рубашку изорвал. Пришёл генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашёл генерал в лес — а там рябчики свистут, тетерева то-куют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувство-вав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное ме-сто с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дож-дается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслили что-ни-будь?

— Да вот нашёл старый нумер «Московских ведомо-стей»*, и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натошак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днём плоды, рыбы, рябчики, тетере-ва, зайцы.

¹ Слова, помеченные звёздочкой, объяснены в конце книги, стр. 170—173.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растёт?— сказал один генерал.

— Да,— отвечал другой генерал,— признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде рождаются, как их утром к кофею подают.

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала её изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как всё это сделать?

— Как всё это сделать?— словно эхо повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рыбчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями * и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел!— сказал один генерал.

— Хороший тоже перчатки бывають, когда долго ношены!— вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился злобный огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенелись. Полетели клочки, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила!— сказали они оба разом.— Ведь так мы друг друга съедим!

— И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет!— проговорил один генерал.

— Начинайте!— отвечал другой генерал.

— Как, напримёр, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство; но ведь и вы прежде встаёте, идёте в департамент, там пишите, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать порá!

Но упоминание об ужине обоих повёргло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться,— начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свой соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, ещё производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чём ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это ещё более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

— «Вчера,— читал взволнованным голосом один генерал,— у почётного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы *рандеву*¹ на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стёрлядь золотая», и питомец лесов кавказских, фазан, и, столь редкая в нашем севере в февралé месяце, земляника...».

¹ Свидание (франц.).

— Тыфу ты, господа! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочёл следующее: — «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поймки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Винючника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и державшего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, забóтливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв в свою очередь газету, прочёл: — «Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрёл следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высесть; когда же от огорчения печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Всё, на что бы они ни обратили взоры, — всё свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только

поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили, как встрепанные, и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навёл их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужчина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него. — Небось и ухом не ведёшь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужчина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стрелку, но они так и закоченели, впевнившись в него.

И начал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картошку; потом взял два куса дерева, потёр их друг об дружку — и извлёк огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рыбчика. Наконец развёл огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришлось даже на мысль: не дать ли и тунеядцу частичку?

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадёшь!

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужчина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твоё усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только своей прежде верёвочку.

Набрал сейчас мужичина дикой коноплей, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру верёвка была готова. Этою верёвкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошёл день, прошёл другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы весёлые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всём готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение *, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что в противном случае как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани, — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! всё сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а всё, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!



— Ещё как жалко-то! Особливо как четвертого класса, так на одно шитьё посмотреть, голову закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на верёвке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха, ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить *, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунейдца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались! И выстроил он корабль не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунейдство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик всё гребёт да гребёт да кормит генералов селёдками.

Вот наконец и Невá-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да весёлые! Напились генералы кофею, наелись слобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и, на свет глядячи, радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награждён! Одно только сердцу моему переносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прощению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днём не убывает, а всё прибывает,— видит и опасается: а ну, как он у меня всё добро приест?

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочтает: старайся!

— Одно только слово написано,— молвит глупый помещик,— а золотее это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а всё по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредёт — сейчас её, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберётся — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим.— Потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть; куда ни глянут — всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за оклицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — всё его стало! Лучины не стало

мужикѹ в светѣц зажёчь, прутá не стáло, чем избѹ вѣмести. Вот и взмолились крестьяне всем міром к гóсподу бóгу:

— Гóсподи! лёгче нам пропáсть и с детьмй с мáлыми, нѣжели всю жизнь так мáяться!

Услышал мйлостивый бог слѣзную молитву сирóтскую, и не стáло мужикá на всѣм прострáнстве владѣний глѹпого помѣщика. Кудá девáлся мужик — никто тогó не замѣтил, а тóлько вйдели лѹди, как вдруг поднялся мякйнный вихрь и, слóвно тѹча чѣрная, пронеслись в вóздухе поскóнные мужйцкие порткй. Вйшел помѣщик на балкѹн, потянул нóсом и чѹет: чйстый-пречйстый во всех егó владѣниях вóздух сдѣлался. Натурáльно, остáлся довóлен. Дѹмает: тепѣрь-то я понѣжу своё тѣло бѣлое, тѣло бѣлое, рыхлое, рассыпчатое!

И нáчал он жить да поживáть и стал дѹмать, чем бы емѹ свою дѹшу утѣшить.

«Заведѹ, дѹмает, теáтр у себя! напишѹ к актѣру Садóвскому: приезжай, мол, любѣзный друг! и актѣрок с собо́й привози!»

Послѹшался егó актѣр Садóвский; сам приѣхал и актѣрок привѣз. Тóлько вйдит, что в дóме у помѣщика пѹсто, и стáвить теáтр и зáнавес поднимáть нѣкому.

— Кудá же ты крестьян своих девáл? — спрашивает Садóвский у помѣщика.

— А вот бог, по молитве моѣй, все мой владѣния от мужикá очйстил!

— Одиáко, брат, глѹпый ты помѣщик! кто же тебѣ, глѹпому, умывáться подаѣт?

— Да я уж и то скóлько дней немѣтый хожѹ!

— Стáло быть, шампйньѹны на лицѣ растйть собрался? — сказáл Садóвский и с ѣтим слóвом и сам уѣхал и актѣрок увѣз.

Вспóмнил помѣщик, что есть у негó побли́зости четѣре генерáла знакомых; дѹмает: «Что ѣто я всё гран-пасѣяне да гран-пасѣяне расклáдываю! Попрóбую-ко я с генерáлами впятерѹм пѹльку-другѹю сыгрáть!»



Сказано — сделано; написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик, — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы. — Стало быть, теперь у вас этого холопьяго запаха нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульту, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришёл их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господя генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошёл к шкафу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господя генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрёшь же ты что-нибудь сам-то? — накнулись они на него.

— Сырьём кой-каким питаюсь, да вот пряники ещё покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют,

и хотѣлъ было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на всё рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.

— Посмотрим,— говорит,— господá либерáлы, кто кого одолеет! Докажѹ я вам, что может сдѣлать истинная твёрдость души!

Раскладывает он «дамскій капризъ» и думает: ежели сряду три рáза выйдет, стало быть, надо не взирать. И, как назло, сколько раз ни разложит, всё у него выходит, всё выходит! Не осталось в нём даже сомнѣния никакого.

— Уж если,— говорит,— самá фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твёрдым до концá. А теперь покуда довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду позаймѹсь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И всё думает. Думает, какіе он машины из Англии выпишет, чтоб всё паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведёт: вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех! Посмотрит в окошко — а там всё, как он задумал, всё точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велѣнью, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладёт! Думает, каких он коров разведёт, что ни кожи, ни мяса, а всё одно молоко, всё молоко! Думает, какой он клубники насадит, всё двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москвѣ продаст. Наконец устанет думать, пойдёт к зеркалу посмотрѣться — а там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — Ну, пускай себе до поры до времени так постоит! а уж докажѹ же я этим либералам, что может сдѣлать твёрдость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет,— и спать!

А во сне сны ещё веселее, нежели наяву, снятся. Снятся ему, что сам губернатор о такой его помещицѣй непреклон-

ности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завёлся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лёнтах, и пишет циркуляры: быть твердым и не взирать! Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя. — Хоть бы лешего какого-нибудь нелёгкая занесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно: побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: ну, этот, кажется, останется доволен!

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные * вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил.

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?... это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий * существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернувшись и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чувствует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдёт. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подати и регалии и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперёд по комнатам и всё думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением * каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

— Хотя бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твёрдость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!» Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдёт, всё, кажется, так и говорит: а глупый ты, господин помещик! Видит он, бежит через комнату мышёнок и крадётся к картам, которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышьяный аппетит.

— Кшш... — бросился он на мышёнка.

Но мышёнок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вилянул в ответ на грозное восклицание помещика и

чѣрез мгновѣние ужѣ выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: погоди, глупый помещик! то ли ещё будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как слѣдует!

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошёл медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твёрдость души всё ещё не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнёт растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем однаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин князь Урус-Кучум-Кильдибаев от принципов отступил!

И вот он одинал. Хотя в это время наступила уже осень и морозы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав*, а ногти у него сделались как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же всё больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста ещё не приобрёл.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил своё тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг взлѣзет на самую вершину дерева и стережёт оттуда. Прибежит это зайц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрелы со-

скочит с дѣрева, вцѣпится в свою добычу, разорвѣтъ еѣ ногтями да так со всѣми внѣтренностями, даже со шкурой, и съест.

И сдѣлался он силѣн ужасно, до того силѣн, что даже счѣл себя вправе войти в дружескіе отношенія с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем дѣлать? — сказал он медвѣдю.

— Хотѣть — отчего не хотѣть! — отвѣчал медвѣдь. — Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в примѣр способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажy тебѣ прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмѣл. Встрѣвѣжилось его донесеніем и губѣрнское начальство, пѣшет к нему: а как вы думаете, кто теперь подать будет вносить? кто будет вино по кабакамъ пить? кто будет невинными занятіями заниматься? Отвѣчает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить слѣдует, а невинные-де занятія и сами собой упразднились, вмѣсто же них распространѣлись в уѣздѣ грабежи, разбои и убійства. На днях-де и его, исправника, какой-то медвѣдь не медвѣдь, человек не человек едва не задрал, в какомъ человеко-медвѣдѣ и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смѣте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совѣтъ. Рѣшили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смѣте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свой прекратил и поступленію в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губѣрнскій город летѣлъ отройшійся рой мужиковъ и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уѣзд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берёте!!

Что же случилось, однако, с помещиком? — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доньше. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ

Жил-был пескарь. И отец и мать у него были умные; по-малёнку да полегоньку аридовы веки * в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пескарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать *, так гляди в оба!»

А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернётся — везде ему мат. Кругом, в воде, все большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пескарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пескаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сѣти, и верши, и норотѣ, и наконец... удѣ! Кажется, что может быть глупѣе удѣ? — Нитка, на нитке — крючок, на крючкѣ — червяк или мѣха надѣты... Да и надѣты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положеніи! А между тем именно на удѣ всего больше пескарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет удѣ предостерегал. «Пуще всего берегись удѣ! — говорил он. — Потому что хоть и глупѣйший это снаряд, да ведь с нами, пескарями, что глупѣе, то вернѣе. Бросят нам мѣху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцѣлишься — аи в мѣхе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору цілою артелью, во всю ширину реки невод растянули да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и голавли, и плотва, и гольцы, даже лещей-лебебоков из тины со дна поднимали! А пескарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пескарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот сейчас или та, или другой его съедят, а он — не трогает... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотней в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко такое, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «кострѣ» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере во время бѣри, ходунѣм ходит. Это «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет суха! И на-

чали туда нашего брата валить. Шваркнет рыба́к ры́бину — та сначала окуне́тся, потом как полоумная вы́скочит, потом опять окуне́тся — и присмире́ет. «Ухй», значи́т, отве́дала. Вали́ли-вали́ли сначала без разбо́ра, а потом один старичо́к глянул на него́ и говори́т: «Како́й от него́, от малы́ша, прок для ухй! пу́шай в реке́ порасте́т!» Взял его́ под жа́бры да и пусти́л в во́льную во́ду. А он, не будь глуп, во все лопáтки — домо́й! Прибежа́л, а пескарё́ха его́ из норы́ ни жива́ ни мёртва́ выглядывает...

И что же! ско́лько ни толкова́л стари́к в ту по́ру, что такое уха́ и в чём она́ заключа́ется, одна́ко и поднёсь в реке́ ре́дко кто здра́вые поня́тия об ухе́ име́ет!

Но он, пескарё́-сын, отлѣчно запо́мнил поучѣ́ния пескарё́-отца́ да и на ус себе́ намота́л. Был он пескарё́ просвещѣ́нный, уме́ренно-либера́льный и о́чень тве́рдо понима́л, что жизнь прожѣ́ть — не то что мутóвку облиза́ть *. «На́до гляде́ть в о́ба,— сказа́л он себе́,— а не то как раз пропаде́шь!» — и стал жить да пожива́ть. Пе́рвым де́лом норó для себя́ такую́ приду́мал, чтоб ему́ забра́ться в неё бы́ло мо́жно, а нико́му́ друго́му — не влезть! Доло́бил он но́сом э́ту норó це́лый год и ско́лько стра́ху в э́то вре́мя при́нял, ноче́уя то в и́ле, то под водя́ным лопухóм, то в осóке. Наконе́ц, одна́ко, вы́долбил на сла́ву. Чѣ́сто, акку́ратно — и́менно то́лько одному́ поместѣ́ться впо́ру. Второ́м де́лом насче́т житья́ своего́ реши́л так: но́чью, когда́ лю́ди, зве́ри, пти́цы и ры́бы спят,— он бу́дет мо́щион де́лать, а днѣ́м — ста́нет в норѣ́ сидѣ́ть и дрожа́ть. Но так как пить-есть все́-таки ну́жно, а жа́лованья он не получа́ет и при́слуги не де́ржит, то бу́дет он выбега́ть из норы́ о́коло полдѣ́н, когда́ вся ры́ба уж сы́та, и, бог даст, мо́жет быть, козя́вку-другую́ и промы́слит. А е́жели не промы́слит, так и голо́дный в норѣ́ заля́жет и бу́дет опять дрожа́ть. Ибо́ лу́чше не есть, не пить, не́жели с сы́тым желу́дком жи́зни лишѣ́ться.

Так он и поступа́л. Но́чью мо́щион де́лал, в лу́нном све́те купа́лся, а днѣ́м забира́лся в норó и дрожа́л. То́лько в по́лдни вы́бежит кой-че́го похва́таты́ — да что в по́лдень промы́слишы́!

В это время и комар под лист от жары прячется и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норё, ночей недосыпает, кускá недоедает, и всё-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грёшным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернётся на другой бок — глядь, аи у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, куда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи, жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее и окуни на нас, мелюзгú, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашёлся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескарй в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!

И прожил премудрый пескарь таким родом с лишком сто

лет. Всѣ дрожáл, всѣ дрожáл. Ни друзѣй у него, ни роднѣх; ни он к кому, ни к нему кто. В кáрты не играет, винá не пьёт, табакú не кúрит, за крáсными дѣвушками не гоняется — то́лько дрожит да одну́ дúму дúмает: «Слáва бóгу! кáжется, жив!»

Дáже щúки под конѣц и те стáли его хвалить: вот каб́и все так жили — то́-то бы в рекé т́ихо б́ыло! Да то́лько он́и э́то нарóчно говор́или; д́умали, что он на похвал́у-то отрекоменд́уется — вот, мол, я! тут его́ и хлоп! Но он и на э́ту штúку не подда́лся, а ещё раз сво́ею мúдростью ко́зни враго́в побед́ил.

Ско́лько прош́ло годо́в по́сле ста лет — неизвѣстно, то́лько стал премúдный пескáрь помира́ть. Лежит в норé и дúмает: «Слáва бóгу, я сво́ею смёртью помира́ю, так же как ўмерли мать и отец». И вспóмились ему́ тут щúчьи слова́: «Вот каб́и все так жили, как э́тот премúдный пескáрь живёт»... А пúтка, в са́мом дѣле, что бы тогда́ б́ыло?

Стал он раски́дывать умóм, ко́торого у него́ была́ палáта, и вдруг ему́ слóвно кто шепну́л: ведь э́так, пожа́луй, весь пескáрный род да́вно перевѣлся бы!

Потому́ что для продол́жения пескáрьего рóда прѣжде всего́ нужна́ семья́, а у него́ её нет. Но э́того ма́ло: для то́го чтоб пескáрья семья́ укрепля́лась и процветáла, чтоб члѣны её б́ыли здоро́вы и бо́дры, н́ужно, чтоб он́и воспитывались в роди́ной стих́ии, а не в норé, где он почти́ ослѣп от вѣчных сýмерек. Необходи́мо, чтоб пескáри достáточное пита́ние получáли, чтоб не чужда́лись общ́ественности, друг с дру́гом хлеб-соль бы води́ли и друг от дру́га добродѣтелями и друѓими отличными́ кач́ествами займствовались. Ибо то́лько така́я жизнь мо́жет соверше́нствовать пескáрью поро́ду и не дозвол́ит ей измельча́ть и вы́родиться в снеткá.

Непра́вильно полага́ют те, ко́и дúмают, что лишь те пескáри мо́гут счита́ться досто́йными гра́жданами, ко́и, обезúмев от стра́ха, сидят в нóрах и дрожа́т. Нет, э́то не гра́ждане, а по ме́ньшей ме́ре бесполе́зные пескáри. Никому́ от них ни тепло́, ни холо́дно, никому́ ни че́сти, ни бесче́стия, ни сла́вы,



ни бесславия... живёт, даром место занимают да корм едят.

Всё это представилось до того отчётливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: вылезу-ка я из норы да гоголем по всей рекё проплыву! Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрёл, защитил? кто слышал об нём? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто.

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он всё дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться нигде: ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, измождённый, никому не нужный, лежит и ждёт: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пескарь, — и ни одна не заинтересуется им. Ни одной на мысль не придёт: дай-ка спрошу я у премудрого пескаря, каким он манёром умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на удю не поймал? Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пескарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слышали вы про остолопа, который не ест, не пьёт, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не вóдит, а всё только распостылюю свою жизнь бережёт? А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его

ушах предсмертные шёпоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам шук глотает.

А куда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пескаря, да к тому же ещё и премудрого?

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалёку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Зайнышка! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а ещё пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе моё решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запаса у нас ещё дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха!... я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельётся. Только об одном думает: через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и ещё того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба залягутся: ха-ха! И волчата тут же за ними увяжутся; играючи,

к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждёт, чай, его теперь невеста, думает: изменил мне косою! А может быть, подождала-подождала да и с другим... слюбилась... А может быть, и так: играла бедняжка в кустах, а тут её волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлёбывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Спится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, куда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ах это невестин брат.

— Невеста-то твою помирает, — говорят. — Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье захла. Теперь только об одном и думает: неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!

Слушал эти слова осуждённый, а сердце его на части разрывалось. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пускал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайчихе, которая тем только и виновата, что его, косога, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы её, серенькую зайчиху, перелопачивая лапками за ушки и всё бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осуждённый на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прынет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось зайчье сердце.

— Не могу, — говорит, — волк не велел.

А волк между тем всё видит и слышит и потихоньку по-волчьи с волчихой перешёптывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осуждённый.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гárкнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой зайнице и без жениха и без брата — обоим волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришёл! — лепечет осуждённый, а сам так и мрёт от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не кладь! Сказывайте, в чём дело?

— Так и так, ваше благородие, — вступился тут невестин брат, — сестрица моя, а его невеста помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм... это хорошо, что невеста жениха любит, — говорит волчиха. — Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк, отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено...

— Я, ваше благородие, прибежусь... я мигом оборотнусь... у меня это... вот как бог свят прибежусь! — заспешил осуждённый и, чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотиться, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косо́го в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотился. А невестина брата аманатом * у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, — сказал он, — я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косо́й, как из лука стрелá. Бежит, земля дрожит. Горá на пути встрéнется — он её «на уру́» возьмёт; рекá — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пýтой кóчки на десятую перепрыгивает. Шýтка ли? в тридцатое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непремённо женюсь!» — ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы его быстротé удивлялись, говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар, а вон он как... улепётывает!»

Прибежал наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Сёренькая зайнышка как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем; не знает, где усадить наречённого зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тётки со всех сторон, да куми, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намыловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занядобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! никогда во всем нашем заячем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест, — говорил он, — так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытие (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, куда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную

цепь вѣрст на сто обогнуть... А кромѣ того, волки, лисичи, совы — на каждом шагѣ так и стерегут.

Умѣн был косой; зараньше так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошел один за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит; глаза помутнились, у рта кровавая пѣна сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит! Вспомнит он об этом и еще шибче припустит. Ни горы, ни доли, ни леса, ни болота — все ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горы теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на почлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: неужто ж я друга не выручу!

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы дневные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот наконец гора. За этой горой — болото и в нем — волчье логово... опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним, как на блюдечке. Где-то вдали на колокольне бьет шесть часов, и каждый удар коло-

кола словно молотом бьёт в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошёл к аманату, сгрёб его в лапы и запустил когти в живот, чтоб разорвать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут, обсевли кругом отца-матери, щёлкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

Злодейства крупные и серьёзные нередко именуются блестящими и в качестве таковых заносятся на скрижали Истории *. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

1. ТОПТЫГИН 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чём бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он всё на одно поворачивал: кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!

За это Лев произвёл его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему поровыл. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужó приедет майор, — говорили они, — засыплет он нам — тогда мы и узнаём, как кузькину тещу зовут!*

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый михайлов день, и сейчас же решил: быть завтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя ещё не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улёгся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь чижик. Особенный это был чижик, умный: и ведёрко таскать умел и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш чижик со временем понóску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошёл, и не раз он Ослу говорил (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушал, как чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умён был чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него

кто-то прыгает, и думает: беспрёменно это должен быть внутренний супостат!

— Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рывкнул он наконец.

Улететь бы чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел; сгрёб грубияна в лапу да, не рассмотревши с похмеля, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось? Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниёт, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин. — Меня Лев, посылая сюда, предупреждал: делай знатные дела, от бездельных же стерегись! а я с первого же шага чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что по раннему времени никто дурательства моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии всё больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурательства не видел, как слышит, что скворка ему с соседней берёзы кричит:

— Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижику съел!

Взбеленный майор; полёз за скворцом на берёзу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел!

Он — за вороной, а из-за куста зайчика выпрыгнул:

— Бурбон стоеросовый! Чижика съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

— *Risum teneatis, amici!*¹ Чижика съел!

Лягушка в болоте квакнула:

— Олух царя небесного! Чижика съел!

Словом сказать, и смешно и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дёбри и болота блёском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что сделал! И куда ни направит Михайло Иванович свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! чижика съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревёл. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако всё-таки кой-как отбодрился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утёк. А теперь и утёчь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! чижика съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своём принципе с каждым днём всё больше да больше умалывается. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдёт, и там его на смех подымут!

¹ Воздержитесь от смеха, друзья! (лат.)

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьёзным последствиям приводят. Маленькая птица чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети!» Все знали, что сам Осёл за него перед Львом предстательствует, а уж если Осёл кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! чижика съел!» Всё равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довёл... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... чижик! скажите на милость! чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окóльные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Всё болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное мнение, что значит! — тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло. — А потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин при упоминании об ней задумывался. Сам по себе он знал об ней очень смутно, но от Ослá слышал, что даже Лев её боится: не хорошо, говорят, в зверином образе на скрижали попасть! История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избь у полесовщика по бревну раскатал — ну, тогда Исто-

рия... а впрóчем, наплева́ть бы тогда́ на Исто́рию! Гла́вное, Осёл бы тогда́ ему́ ле́стное письмо́ написа́л! А тепе́рь, смотре́те-ка! — съел чй́жика и тем себя́ воспросла́вил! Из-за ты́сячи ве́рст прискака́л, ско́лько прого́нов и порцио́нов изве́л * — и пе́рвым де́лом чй́жика съел... ах! Ма́льчишки на шко́льных скамья́х бу́дут знать! И ди́кий тунгу́з и сын степе́й калмы́к — все бу́дут говори́ть: май́бра Топты́гина посла́ли супоста́та покоры́ть, а он вме́сто того́ чй́жика съел! Ве́дь у него́, у май́бра, у само́го де́ти в гимна́зию ходя́т! До сих пор их май́брскими детьми́ велича́ли, а напредки́ прохо́ду им школя́ры не даду́т, бу́дут крича́ть: «Чй́жика съел! чй́жика съел!» Ско́лько потре́буется генера́льных кровопроты́ев учини́ть, чтоб́ э́кую па́коть загла́дить! Ско́лько наро́ду огра́бить, разоры́ть, загуби́ть!

Прокля́тое то вре́мя, кото́рое с по́мощью крúпных злодея́ний цитаде́ль обще́ственного благоустро́йства соору́жает, но срами́бе, срами́бе, тысячекра́тно срами́бе то вре́мя, кото́рое той же це́ли минт дости́гнуть с по́мощью злодея́ний срами́ных и ма́лых!

Ме́чется Топты́гин, ноче́й не спит, докла́дов не принима́ет, всё об одно́м ду́мает: «Ах, что́-то Осёл об моёй май́брской про́казе ска́жет!»

И вдруг, сло́вно сон в ру́ку, предписа́ние от Осла́: «До све́дения его́ высокостепе́нства господи́на Льва дошло́, что вы вну́тренних враго́в не усмири́ли, а чй́жика съели — пра́вда ли?»

Пришло́сь сознава́ться. Пока́ялся Топты́гин, написа́л ра́порт и жде́т. Разуме́ется, ника́кого ино́го отве́та и быть не могло́, крóме одно́го: «Дура́к! чй́жика съел!» Но ча́стным о́бразом Осёл дал виновато́му знать (Медве́дь-то ему́ ка́дочку с ме́дом в презе́нт при ра́порте отосла́л): «Непреме́нно вам ну́жно особли́вое кровопроты́е учини́ть, дабы́ гну́сное о́ное впечатле́ние истреби́ть...»

— Ко́ли за э́тим де́ло ста́ло, так я ещё́ репута́цию свою́ попра́влю! — мо́лвил Миха́йло Ива́ныч и сейча́с же напáл на



стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и идти разыскивать да кстати целый лес основ выворотил *. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши всё это, сел, сукин сын, на корточки и ждёт поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осёл, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственноручно на ословом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Топтыгин, который маво любимова Чижика снёл!»

И приказал отчислить его по инфантерии *.

Так остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографий начал — быть бы ему теперь генералом.

II. ТОПТЫГИН 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит всё будущее администратора. Поэтому ещё до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была ещё менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осёл ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казённый ручной станок, который лесные куранты тискал *, но ещё при Магницком * этот станок был публично сожжён, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было ещё, что дятел на древесной коре, не переставая, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней письмён, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времён.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу по крайней мере университета или хотя академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать (*«similia similibus curantur»* ¹⁾), но получил в ответ, что Магницкий, волею божией, помер.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Кóли дýшу у них, у мерзавцев, за немёнием, погубить нельзя,— сказал он себе,— стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано — сделано. Выбрал он ночьку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, ко-

¹ «Подобное подобным излечивается» (лат.)

рѡву, свинью, пару овѣц, и хоть знаѣтъ, негодѣй, что уж в лоск мужичкѣ разорил, а всё ему мѣло кѣжется. «Постой,— говорит,— я у тебя двор по бревнѣ раскатѣю, навѣки тебя с сумой по миру пушѣ!» И, сказавши это, полѣз на крышу, чтоб злодѣйство своё выполнить. Тѡлько не рассчитѣлъ, что мѣтица-то гнилѣя былѣ. Как тѡлько он на неё ступил, она возьми да и провались. Повис майѡр на вѡздухе; видѣтъ, что неминуѣе дѣло об зѣмлю грѡхнуться, а ему не хѡчется. Облѣпил облѡмок бревнѣ и заревѣлъ.

Сбежѣлись на рѣв мужики, кто с колѡм, кто с топорѡм, а кто и с рогѣтиной. Кудѣ ни обернѣтся — кругѡм, вездѣ погром. Загородки полѡманы, двор раскрыт, в хлевѣх лѣжи крѡви стоят. А посреди двора и сам вѡрог висѣтъ. Взорвѣло мужиков.

— Ишь, анѣфема! перед начѣльством вѣслужиться захѡтел, а мы чѣрез это пропадѣть должнѣй! А нѣ-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогѣтину на то сѣмое мѣсто, где Топтыгину упѣсть надлежѣло, и уважили. Затѣм содрѣли с него шкурѣ, а стѣрво вѣвезли в болѡто, где к утру его расклевѣли хищные птѣицы.

Таким ѡбразом, явилась нѡвая леснѣя прѣктика, котѡрая установилѣ, что и блестящие злодѣйства мѡгут имѣть послѣдствѣя не мѣнее плачѣвные, как и злодѣйства срамнѣе.

Эту вновь установившѣюся прѣктику подтвердилѣ и леснѣя Истѡрия, присовокупив, для вѣшей вразумѣтельности, что принѣтое в истѡрических руководствах (для срѣдних учебнѣх заведѣний издаваемых) подразделѣние злодѣйств на блестящие и срамнѣе упразднѣется навсегдѣ и что отнѣне всем вообще злодѣйствам, каковы бы ни были их размѣры, присвоѣется наименованѣе «срамнѣх».

По докладѣу о сем Ослѣ Лев собственнѡлѣнно на ѡном нацарѣпал так: «О приговѡре Истѡрии дать знѣть майѡру Топтыгину 3-му: пускай изворѣчивается».

III. ТОПТЫГИН 3-й

Трѣтій Топтыгин был умнѣе своихъ тезоименитыхъ предшественниковъ. «Дѣло-то выходитъ бросовое! — сказа́л онъ себѣ, прочитавъ резолюцію Льва. — Мало напáкостишь — поднимутъ на смехъ; много напáкостишь — на рога́тину поднимутъ... Полно, ѣхать ли ужъ?»

Спрашивалъ онъ ра́портомъ у Ослá: «Ежели-де ни большіе, ни малые злодеянія соверша́ть не разрешáется, то нельзя ли хоть срѣдніе злодеянія соверша́ть?» Но Осёл отвѣтилъ уклончиво: «Всѣ-де ну́жные по сему́ предмету указáния вы найдёте въ Леснóмъ устáве». Загляну́л онъ въ Леснóй устáв, но тамъ обо всёмъ говорилось: и о пушнóй пóдати, и о грибно́й, и объ я́годной, да́же объ ши́шкахъ ело́выхъ, а о злодея́ніяхъ — молчóк! И затѣмъ на все его дальнѣйшіе докúки и настоя́нія Осёл отвѣча́л с одина́ковою зага́дочностью: «Дѣйствуйте по пристóйности!»

— Вотъ до ка́кого мы врѣмени до́жили! — ропта́л Топтыгин 3-й. — Чинъ на тебя́ большо́й накла́дываютъ, а ка́кими злоде́йствами его́ подтверди́ть — не ука́зываютъ!

И опять мелькну́ло у него́ въ головѣ: полно, ѣхать ли? и если б не вспомнилось, ка́кая ўйма подъѣмныхъ и прогóбныхъ денегъ для него́ въ казначѣйствѣ припасена́, прáво, ка́жется, не поѣхалъ бы!

Прибы́л онъ въ трущóбу на своихъ на дво́ихъ — очень скромно. Ни официáльных приѣмовъ не назна́чил, ни докладныхъ дней, а прýмо юркну́л въ берлóгу, засу́нул ла́пу въ хайло́ и задѣгъ. Лежитъ и думаетъ: «Да́же съ зайца шку́ру содрáть нельзя́ — и то, пожа́луй, за злоде́йство сочтúт! И кто сочтётъ? добро́ бы Левъ или Осёл — это́ бы куда́ ни шло! — а то мужики́ ка́кіе-то. Да Истóрию ещё ка́кую-то нашли́ — вотъ ужъ по́длинно истóрия-я!!» Хохóчет Топтыгинъ въ берлóге, про Истóрию воспомина́ючи, а на сѣрдце у него́ жу́тко: чу́ет онъ, что самъ Левъ Истóрии бо́ится... Какъ тутъ бóдешь лесну́ю свóлочь подтя́гивать — и ума́ приложить не мо́жет. Спрашиваютъ съ него́ много́, а разбóйни-

мать не велѣтъ! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится — стой, погодь! не в своё мѣсто заѣхал! Вездѣ «правѣ» завелѣсь. Дѣже у бѣлки, и у той нынче правѣ! Дробину тебѣ в нос — вот какіе твой правѣ! У них — правѣ, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое мѣсто! Онѣ друг друга поедом ѣдят, а он задрѣть никого не смѣет! На что похоже! А всё Осѣл! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивна бѣстра содѣлал? ўзы ему кто разрешил?» — вот об чём нужно бы ему всечасно помнѣть, а он об «правѣх» мычит! «Дѣйствуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управленіе ввѣренной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себѣ «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодѣйств, до того обнаглѣла, что, услышавши его рѣв, только молвила: «Чу, Мишка ревѣтъ! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отѣхал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медвѣдь умный и не затѣм в берлогу залѣг, чтобы в бесплодных сетованіях изнывать, а затѣм, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дѣло в том, что, покуда он лежал, в лесу всё самѣ собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было называть вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучія, а в том, чтобы истари заведенный порядок (хоть бы и неблагополучный) от поврежденій оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какіе-то большіе, средніе или малые злодѣйства устранять, а довольствоваться злодѣйствами «натуральными». Ежели истари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это всё-таки «порядок», — стало

быть, и слéдует призна́ть его́ за тако́вой. А е́жели при э́том ни за́йцы, ни воро́ны не то́лько не ро́бнут, но продо́лжают пло́диться и насе́лять зе́млю, то э́то зна́чит, что «по́рядок» не выхо́дит из опреде́ленных ему́ исто́рни гра́ниц. Неужели и э́тих «нату́ральных» злоде́йств недоста́точно?

В да́нном слúчае всё и́менно так происхо́дило. Ни ра́зу лес не измени́л той физионо́мии, ко́торая ему́ при́личествовала. И днём и но́чью он гремёл миллио́нами голосо́в, из ко́торых одни́ представля́ли агонизи́рующий вопль, други́е — побéдный кли́к. И на́ружные фо́рмы, и зву́ки, и светоте́ни, и со́став насе́ления — всё представля́лось неизме́нным, как бы засты́вшим. Сло́вом сказа́ть, э́то был по́рядок, до тако́й стéпени устано́вившийся и про́чный, что при ви́де его́ да́же са́мому лю́тому, ры́нному воево́де не могла́ прийти́ в го́лову мы́сль о ка́ких-либо увенча́тельных злоде́йствах, да ещё «под ли́чною ва́шего степенства́ отве́тственно́стью».

Таки́м о́бразом, перед у́мственным взо́ром Топты́гина 3-го вдруг ви́росла це́лая те́ория неблагополúчного благополúчия. Ви́росла со все́ми подро́бностями и да́же с гото́вой провё́ркой на пра́ктике. И вспо́мнилось ему́, как одна́жды в дру́жеской бесе́де Осёл говори́л:

— Об ка́ких э́то вы всё злоде́йствах допра́шиваете? Гла́вное в на́шем реме́слé — э́то: *laissez passer, laissez faire!*¹ Или, по-ру́сски выража́ясь: дура́к на дураке́ сидит и дурако́м погоня́ет! Вот вам. Если вы, мой друг, ста́нете э́того пра́вила держа́ться, то и злоде́йство са́мо собо́й сде́лается, и всё у вас бу́дет обстоя́ть благополúчно!

Так оно́ и́менно по его́ и выхо́дит. На́до то́лько сиде́ть и ра́доваться, что дура́к дурака́ дурако́м погоня́ет, а всё остальное́ прило́жится.

— Я да́же не понима́ю, заче́м воево́д посыла́ют! ве́дь и без них... — слиберальничал бы́ло майо́р, но, вспо́мнив о присво́енном ему́ соде́ржании, замя́л нескро́мную мы́сль: ниче́го, ниче́го, молча́ние...

¹ Предоста́вить свобо́ду де́йствий! (франц.)

С этими словами он перевернулся на другой бок и решил выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем всё пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, мёду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожаемые лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвёл в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но тут явились в тущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молочки для приплоду оставили) и вывесили на верёвочке на солнце: пускай проявится. Повисела вобла денёк-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсыхла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать¹.

— Как это хорошо, — говорила вяленая вобла, — что со мной эту процедуру сделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет! Всё у меня лишнее выветрило, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

¹ Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. (Прим. автора.)

Что быва́ют на свѣтѣ лишніе мы́сли, лишняя со́весть, лишніе чу́ства — об́ этом, ещё живучи на во́ле, во́бла слы́шала. И ни́когда, при́знаться, не зави́довала тем, ко́торые та́кими излі́шками облада́ли. От ро́ждения она́ была́ во́бла степе́нная, не в своѣ де́ло но́са не сова́ла, за «ли́шним» не гна́лась, в э́мпиреях не вита́ла * и неблагонаде́жных ко́мпаний удаля́лась. Ещё́ где, быва́ло, заслу́шит, что песка́ри об конститу́циях болта́ют, — се́йчас на́лево круго́м и под лопу́х схоро́нится. Одна́ко же и за все́м тем не без стра́ху жи́ла, пото́му что не ро́вен час, вдруг... «Мудре́ное ны́нче вре́мя! — ду́мала она́. — Тако́е мудре́ное, что и неви́нный за ви́новато́го как раз сойде́т! Нача́нут э́то ша́рить, а ты о́коло где-нибу́дь спря́талась, — а́н и о́коло поша́рят! Где была́? по ка́кому слу́чаю? ка́ким мане́ром? — го́споди, спаси́ и поми́луй!» Ста́ло бы́ть, мо́жете себѣ предста́вить, как она́ была́ ра́да, ко́гда её изло́вили и все мы́сли и чу́ства у ней вы́холости́ли! «Те́перь ми́лости про́сим! — торже́ствовála она́. — Ко́гда уго́дно и кто уго́дно приходи́! те́перь у меня́ все до́казательства нали́цо!»

Что и́менно разу́мела вя́ленная во́бла под назва́нием «ли́шних мы́слей и чувств» — неизвѣ́стно, но что де́йствительно на́ших гла́зах мно́го ли́шнего заве́лось — с э́тим и я не согла́ситься не могу́. Су́щности э́того ли́шнего ни́кто ещё́ не назы́вал по и́мени, но вся́кий сму́тно чу́ствует, что, куда́ ни обернись, ве́зде ка́кой-то привѣсок вы́глядывает. И хо́ть ты что хо́чешь, а на́добно э́тот привѣсок и́ли в расче́т при́нять, и́ли так его́ обо́йти, что́бы он и не поду́мал, что его́ надува́ют. Все́ э́то поро́ждает тьму но́вых забо́т, осло́жнений и беспокóйства вооб́ще. Хо́чется, по-ста́ринному, пря́мком про́йти, а́н пря́мк бурело́мом зава́лило, про́моинами искове́ркало — ну, и сту́пай за се́мь ве́рст кисе́ля е́сть. Вся́кий партикуля́рный чело́вѣк * ны́нче э́ту тя́гость уж созна́ет, а ка́кое для нача́льства от то́го отягоще́ние, — э́того ни в ска́зке сказа́ть, ни перо́м опи́сать. Шта́ты-то ста́ринные, а дела́-то но́вые; да и в шта́тах-то в са́мых уж привѣски за́велись. Пре́жде у чи́новника-то чу́гу́нная поясн́ица была́: как сел на ме́сто в де́сять часо́в утра́, так

и не встаёт до четырёх — всё служит! А нынче придёт он в час, уж позавтракавши; час папирóску курит, час куплётý напевáет, а остальное время — так óколо столóв колобродит. И тайны канцеля́рской совсём не держит. Начи́ет одно́ де́ло перели́стывать: «Посмотрите, какой курьёз!» — за друго́е возьме́тся: «Глядите, ведь э́то — отдай всё да и ма́ло!» Набере́ет курьёзов с три ко́роба да к Па́лкину обе́дать. А как ты уде́ржишься, что́бы курьёзом стен Па́лкина тракти́ра не огла́сить! Да ежели, я вам доложу́, за ка́ждую канцеля́рскую нескро́мность бу́дет ка́торга обе́щана, так и тогда́ от нескро́мностей не уйти́!

Спра́шивается: с кем же тут нача́льству подни́ться! У всех есть посо́бники, а у него́ нет; у всех есть укыва́тели, а у него́ нет! Как тут остано́вить наплыв «ли́шнего» в партикуля́рном ми́ре, когда́ в сво́ей со́бственной цитаде́ли, куда́ ни вскинёшь глаза́ми, — везде́ ли́шнее да неподлежа́щее так и хлещет че́рез край!

Тру́дно, ах, как тру́дно среди́ э́той ма́ссы привёсков жить! приходи́тся всю доро́гу ошупью иди́ти. Ду́маешь, что настоя́щее ме́сто нашáрил, а о́казывается, что ша́рил «óколо». Беспо́лезно, беспло́дно, жесто́ко, срамно́. Поло́жим, что невелика́ беда́, что невиновáтый за виновáтого сошё́л — много́ их, невиновáтых-то э́тих! сегóдня он невиновáт, а за́втра кто ж его́ зна́ет? — да вот в чём настоя́щая беда́: по́длинного-то виновáтого всё-таки́ нет! Ста́ло быть, и о́пять нащупыва́ть на́до, и о́пять — мимо́! В том всё вре́мя и прохо́дит. Поня́тно, что да́же са́мые умудрённые партикуля́рные лю́ди (те, кото́рые са́лых свечёй не е́дят и стекло́м не утира́ются) — и те ста́ли в тупи́к! И так как на ежа́ го́лым те́лом ни́кому́ неохóта сади́ться, то вся́кий и вопи́ет: го́споди! пронеси́!

Нет, как хоте́те, а на́до когда́-нибудь э́ти привёски счесть да и присмотре́ться к ним. Узнáть: отку́да они́ пришл́и? заче́м? куда́ проле́зть хотя́т? Не все же наха́лом вперёд лезут — иное́ что и по́лезное сы́щется.

Очень, впрóчем, возмо́жно, что во́бле э́ти вопро́сы и на ум

совсѣм не приходили. Однако повторяю: и она́ вмѣстѣ с прѣ-
чими чувствовала, что или от привѣсков, или по поводу при-
вѣсков — ей всячески мат. И только тогда, когда её на солнице
хорошенько проявило и выветрило, когда она́ убедилась, что
внутри у неё ничего, кромѣ молока, не осталось, — только тогда
она́ ободрилась и сказала себѣ: «Ну, теперь мне на всё на-
плевать!»

И точно: теперь она́, даже прѣотив прѣжнего, сдѣлалась со-
лиднее и благонадѣжнее. Мысли у ней — резонныя, чувства —
никого не задевающие, совести — на медный пятак. Сидит
себѣ с краё и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет —
она́ оглянется, коли есть посторонние — сунет нищему в руку
грошик; коли нет никого — кивнѣт головой: бог подаст! Встре-
тится с кѣм-нибудь — непременно в разговор вступит; откro-
венно мнѣние своё выскажет и всех основательностью восхи-
тит. Не рвѣтся, не мѣчется, не протестует, не клянѣт, а резонно
об резонных делах калякает. О том, что тише ѣдешь, дальше
бѣдешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан,
что поспѣишь — людей насмѣишь, и т. п. А всего больше
о том, что уши выше лба не растут.

— Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно
тебя тошнит! — воскликнет собесѣдник, ежели он из свѣ-
женьких.

— И всем скучно сначала, — стыдливо ответит воблуш-
ка. — Сначала — скучно, а потом — хорошо. Вот как поживѣшь
на свѣтѣ да пошарят около тебя вдоль — тогда и об воблуш-
ке вспомнишь, скажешь: спасибо, что уму-разуму учила!

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что ежели по прав-
де рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую
цѣнтру попала. Бывают такіе обстановочки, когда подлинного
ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин
ум-разум. Люди ходят, как сонные, ни к чему приступить
не умеют, ничему не радуются, ничѣм не печалются. И вдруг
в ушах раздаѣтся успокоительно-соблазнительный шепот:
«Потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывает, одной

не миновать...» Это она, это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка, правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы оставалось — пропасть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьёзы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брёшах никому не придёт! Вот уж там-то всё шито да крыто, там-то уж ни о каких привёсках и слыхом не слыхать! Есть захотелось — ешь! спать вздумалось — спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив — только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя, — все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спице, дружки, почивайте! И нашивать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери настежь. «Вперёд без страха и сомненья!» * — или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

— И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? — спрашивают её благодарные пескарёв, которые, по милости её советов, неискалеченными остались.

— От рожденья бог меня разумом наградил, — скромно отвечает воблушка, — а сверх того, и во время вьяленья мозг у меня в головё выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакие человеконенавистничество, никакие змейные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» — ведь это то самое, о чём древние римляне говорили: *respice finem!*¹ Только более нам ко двору.

¹ Смотри конец! (лат.)

Хорошá клеветá, а человеконенавистничество ещё того лúче, но онí так сýльно в нос бьют, что не всякий простёц вместить их мóжет. Всё кáжется, что одна половина тут на-подленá, а другая — налганá. А глáвное, концá-кряю не видáть. Слúшаешь или читáешь и всё дýмаешь: лóвко-то лóвко, да что же дáльше? — а дáльше опáть клеветá, опáть яд... Вот ёто-то и смущáет. То ли дёло скрóмная вóблужкина резóнность? «Ты никогó не тронь — и тебя никто не трóнет!» — ведь ёто цёлая поёма! Тускленька, прáвда, ёта пресловúтая резóнность, но посмотрíte, как цёпко она́ человека нащúпывает, как экурáтно его обшлифóвывает! Сначала клеветá поизмýчает, потóм хлёвный яд одурмáнит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всём его оргáнisme мёста, котóрое бы не нýло, а в душе нет ниóго ощущения, крóме безграницной тоскí,— вот тогда и выступáет вóблужка с своими скрóмными афоризмами. Она́ бесшумно подкра́дывается к искалеченному и безболёзненно додурмáнивает его. И, приведя его к стенé, говорит: «Вон скóлько карáкуль там написано; всю жизнь разбирай — всего не разберёшь!»

Смотри на ёти карáкули и, ёжели есть охóта — доискивайся их смýсла. Тут всё в одно мёсто скúчено: заветы прóшлого, и яд настоящего, и зага́дки б́дущего. И над всем лёг густой слой всякого рóда грязи, погáдок, вёшних потóков и следóв непогóд. А ёжели разбирáться в карáкулях охóты нет, то тем ещё лúче. Верь нá слово, что суть ётих карáкуль мóжет быть вы́ражена в немно́гих слова́х: выше лба ўши не растúт. И за-тём — живи́.

Всё ёто отлúчно поняла́ вяленая вóбла, или, лúче ска-зáть, не самá она́ поняла́, а принёс ей ёто понимáние тот про-цесс вяления, сквозь котóрый она́ прошлá. А впоследствии вре́мя и обстоя́тельства усыновили её и дáли ширóкий простóр для применений.

Все по́прища поочерёдно открывáлись перед ней, и на вся-ком она́ слúжбу сослужила. Везде́ она́ своё слóво сказа́ла,

слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что по обстоятельствам лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорочнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваячи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнужданности страстей. Тогда изъяны ступают сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та возжеленная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных» — и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли к стопам! Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: моя речь еще вперед. И действительно, раз повергли, в другой — повергли, в третий — опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: мало! другой перебивает: много! а третий прямо бунт объявляет: едем, братьцы, прямо... так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорят, мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание». — «Как так? почему?» —

«А потому, говорит, что так и стари заведено: коли спрашивают — повергай! а не спрашивают — сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться её уму-разуму.

— Откуда у тебя такая ума палата взялась? — обступили её со всех сторон. — Ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились! *

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Оттого я так умна, что своевременно меня провляли. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести — ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

— Правильно! — согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: коли спрашивают — повергай! а не спрашивают — сидеть и получать присвоенное содержание...

Какое правило соблюдается и доньше.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить — и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судьбе: проверь самого себя! А ежели у кого совесть вместе с прочей требухой из нутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится и против каждого камешек припасён — тоже под номером. Остаётся только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью — полностью искалечь: сам виноват! Ежели

слѣдует искалѣчить в частности — искалѣчь частицу: вперед наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смѣха не мог...

Но больше всего была богата послѣдствиями добровольческая воблушкина дѣятельность по распространѣнню здравых мыслей в обществѣ. С утра до вечера неуставая ходила она по градам и вѣсям и все одну пѣсню пѣла: «Не расти ушамъ выше лба! не расти!» И не то чтоб с азѣртом пѣла, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что. Разве что вгорячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распѣлась!» — ну, да ведь в дѣлѣ распространѣннн здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал...

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основаннн говорила себѣ: пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затѣм я своего уж добьюсь...

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поученнн воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и вездѣ так бывает, но в других мѣстах для убежденных людей выдаются изрядные свѣтлые промежутки, а тут они — коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставнть, извольте добнтся, чтоб они усвоили себѣ представлѣнне о своем правѣ на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы в слѣчае надобности и защитнтъ это право умѣли. Утверднтельно можно сказатъ, что эта задача мучительная. А между тем сколько во имя ее погубляется жнзней, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результатѣ этих усилнй блеснт одна-единственная минута радости (вдобавок, мннмой), то это ужѣ награда, которая считается достаточной, чтобы оправдатъ цѣлые годы послѣдующих отрав...

А кромѣ того, и время стояло смутное, невѣрное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучались, метались, во-

прошáли и вмéсто отвéта видели перед собóй зáпертую дверь. Пёстрые люди следили в недоумéнии за их потúгами и в то же врéмя нюхали в вóздухе, чем пáхнет. Пáхло нехорошó; ощущáлось присутствíе желéзного кольца, которóе с кáждым днём всё бóльше и бóльше стягивалось. Ктó-то нас выручит? ктó-то подходящее слóво скáжет? ежемгновéнно тосковáли пёстрые люди и бы́ли рады-радёхоньки, когдá в ушáх их раздались отрезвляющие звúки.

Наступáет короткíй перíод задúмчивости: пёстрые люди ужé решились, но ещё стыдятся. Затём пёстрая мáсса начинáет мáло-помáлу волновáться. Бóльше, бóльше, и вдруг вопль: «Не растúт úши вы́ше лба, не растúт!»

Общество отрезвилось. Это зрéлище поголовного освобождéния от лиш́них мы́слей, лиш́них чувств и лиш́ней совéсти до такой стéпени уми́лительно, что дáже клеветникí и человеко-ненавистникí на врéмя умолкáют. Онí вы́нуждены сознáться, что простáя вóбла, с проявленными молóками и вы́ветрившимся мóзгом, соверш́ила такíе чудесá консерватíзма, о котóрых онí и гадáть не смéли. Одно утешáет их: что éти пóдвиги подъя́ты вóблой под прикрýтием их человеконенавистнических вóплей. Если б онí не взывáли к посрédничеству ежóвых рукави́ц, éсли б не угрожáли согну́тием в барáний рог,— мог-лá ли бы вóбла с успéхом вестí свою́ мирно-возрождéтельную пропагáнду? Не заклевáли ли бы её? не насмеялись ли бы над нёю? И, наконéц, не перспектíва ли скорпиóнов и ран, ежеминúтно йми, клеветникáми, показываемая, повлия́ла на решéние пёстрых людей?

Нéкоторые из клеветникóв дáже устраи́вали на всякíй слýчай лазéйку. Хвалíть хвали́ли, но кáмень за пáзухой всё-таки приберегáли. «Прекрáсно,— говорíли онí.— Мы с удовóльствием допуска́ем, что óбщество отрезвилось, что химёра упразднена́, а на мéсто её вступíла в свои права́ здоровáя, неподкра́шенная жизнь. Но надóлго ли? но прóчно ли нáше отрезвлéние — вот вопро́с. В éтом смýсле мирный харáктер, котóрый ознаменовáл процéсс нáшего возрождéния, навóдит

на очень серьёзные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, неожиданно-негладанно благодаря авторитету пословицы,— положим, благонамеренной и освященной вековым опытом, но всё-таки не более как пословицы,— является радикальное и повсеместное отрезвление! Полно, так ли это? Искренне ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представляет ли оно искусного компромисса или временного *modus vivendi*¹, допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приёмах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает короткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат* всевозможных веяний и наслоений, и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразие элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усвоили; потом он в трактиры проник, потом... Дамочки радовались и говорили: теперь у нас балы начнутся. Гостинодворцы развёртывали материи и ожидали оживления промышленности.

Оставалось одио: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: надо дело делать, но какое — не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

¹ Поведения (лат.).

— Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело», — возражают ей. — Дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заледила одно и ни пяди уступить не согласна! Так ни от кого насчёт дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется — кто же его делать-то будет?

— Вы, Иван Иванович, будете дело делать?

— Где мне, Иван Никифорович! Моя изба с краёу... вот разве вы...

— Что вы! что вы! да разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного — изба с краёу, другой — не об двух головах, третий — чего-то не забыл... все глядят, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки — как плети...

«Уши выше лба не растут» — хорошо это сказано, сильно, а дальше что? На стене каракули-то читать? — положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? — прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперёк горла вопрос: а дальше что?

Отвечать на этот вопрос вызвались клеветники и человеко-ненавистники.

«Самое по себе взятое, — говорили и писали они, — учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадёжным. Но дело не в доктрине и её положениях, а в тех приёмах, которые употреблялись для её осуществления и насчёт которых мы с самого начала предостерегали тех, кому вёдать о сем надлежит. Приёмы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе

клеймó того же паскúдного либерáльничанья, котóрое ужé стóлько раз приводило нас на край бéздны. Так что ёжели мы ещё не находимся на дне óной, то именно тóлько благодаря здравому смýслу, исконí лежавшему в основáнии нáшей жízни. Пускай же ётот здравый смысл и тепёр сослúжит нам свою обýчную слúжбу. Пусть подскáжет он всем, серьёзно понимающим интересы своего отéчества, что едíнственный целесообразный приём, при пóмощи котóрого мы мóжем прийти к какому-нибудь результáту, представляют ежóвы рукавицы. Об ётом напоминают нам предáния прóшлого; о том же свидетельствует смýта настоящего. Ётой смýты нé было бы и в помине, ёсли б нáши предостережéния бýли своеврёменно выслушаны и принýты во внимáние. «*Caveant consules!*»¹ — повторяем мы и при ётом прибавляем для не знáющих по-латыни, что в рýсском переводе выражéние ёто знáчит: «Не зевай!»

Таким образом, оказáлось, что хоть и проявили вóблу, и виúтренности у неё вычистили, и мозг выветрили, а всё-таки в концé концов ей пришлóсь распóясываться. Из торжествующей она превратилась в заподóзренную, из благонамёренной — в либерáлку. И в либерáлку тем бóлее опáсную, чем благонадёжнее была мысль, составлявшая основáние её пропагáнды.

И вот в одно úтро совершилось неслы́ханное злодеяние. Один из сáмых рьяных клеветников ухватил вяленую вóблу под жáбры, откусил у неё гóлову, содрáл шкúру и у всех на виду слóпал...

Пёстрые лúди смотрéли на ёто зрéлище, плескáли руками и вопили: «Да здравствуют ежóвые рукавицы!» Но Истóрия взгляну́ла на дéло иначе и втайне положила в сёрдце своём: годиков чéрез сто я непременно всё ёто тисну!

¹ «Пусть будут бдительны консулы!» (лат.)

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полёт величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердцем великодушием. Так что ежи, например, хотят воспеть в стихах городского, то непременно сравнивают его с орлом. Подобно орлу, говорят, городской бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав, простил.

Я сам очень долго этим панегирикам * верил. Думал: ведь в самом деле красиво! Выхватил... простил! простил?! — вот что в особенности пленяло. Кого простил? — мышь!! Что такое мышь?! И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуты сопел, и затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль: с чего же, однако, орёл «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орёл мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежи и допустить, что орёл «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орёл, хоть архирорёл, всё-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городского может быть лестно только по недоразумению. И теперь я думаю об орлах так: орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в своё оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильные, дальнорёзки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что при

появлении их всё пернатое царство спешит притаяться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют.

Выискался, однако ж, орёл, которому опостыдело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одурёшь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворию и зажил бы припеваючи. Вороны бы сплётни ему переносили, попугаи куврыкались бы, сорока бы кашу варила, скворцы величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворию, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я её в страхе держать стану. Вот и всё.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки * и выдали окладные листы *. Ворона — птица плодущая и на всё согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерится. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остаётся только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казни препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать.

Слѣвом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом построили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворянах полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы в особенности считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать без предварительной цензуры газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется — а не касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — а касаться не только можно, но и должно. А его за это в голову тук да тук. Вот он и замыслил: пойду в дворянство к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запер, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем баба-яга», «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мой отпечатает!

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он исконно так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая

его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыханье, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песни по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоить... Думалось: орёл ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрашит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: доложит да доложит!

Выслушал орёл соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе, да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точёные камешки, глянцем на солнце отливает. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни бабой-ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловьё только одно слышал: что эта птица малая, не стоит из-за неё клюв мараить.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.

— Какой такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Уже гости приедут, разговаривать будут. Скажут: при Бонапарте это было, а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову, — и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворах заводить, потому что при них и орлам занятнее живётся да и со стороны посмотреть не зазорно. Учёнье — свет, а неучёнье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали — значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведёрко с водой таскать умеет, а какие деньги за такого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: ловок орёл, а простофиля.

— Что ж, я не прочь от наук! — цыкнул орёл.

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают»*, коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи новые кунштюки* выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс¹, да кста́ти уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И в заключение самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на́завтра же был готов к состязанию с соловьём.

И вот вожделённый день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой лёгкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орёл подтвердил: имянно! Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орёл подтвердил: имянно! Говорил, что холопское житьё лучше барского, что у ба́рина за́бо́тушки много, а холопу за ба́рином го́рюшка нет, а орёл подтвердил: имянно! Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совесть ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, а орёл подтвердил: имянно!

Наконёц снегирь надоёл.

— Следующий! — цыкнул орёл.

Дятел начал с того, что генеалогию* орла от солнца повёл, а орёл с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». — «Было у солнца, — говорил дятел, — трое детей: дочь Акúла да два сына: Лев да Орёл. Акúла

¹ Академию наук (франц. *académie des sciences*).

была распутная — её за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвёл».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орёл в нетерпенье кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалёючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нём жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспреестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орёл, да и шабаш!

— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он наконец. — Позвать Тредьяковского!

А Василий Кириллыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял да так их явственно изложил, что орёл только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и закончились. Живо запрятали его в куролёску* и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напоёт сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения всё-таки не было покинута. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаялся. С первого же дня он почувал, что всей этой просветительной суетоке последует скорый и немилосердный конец.

стивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год вместо «Орёл» подписывался «Арёл», так что ни один солидный занюдавец вексель с такою подписью не принимал. Но ещё большая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: бб... з... х..., а сокол, тоже ежеминутно, внушал, что без первых четырёх правил арифметики нагребленную добычу разделить нельзя.

— Украд ты десять гусёнок, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орёл не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днём больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться нитрига. Во главе заговора явился коршун и увлёк за собой кукушку. Последняя стала напётивать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Учёный! учёный!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орёл глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: вв... зз... рррр...

— Уйди, постылая! — кратко огрызнулся орёл.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орёл к сове и разорвал её надвое. А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача,— сказал он,— награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам,— сколько на твою долю достанется?

— Всё,— отвечал орёл.

— Ты говори дело,— возразил сокол.— Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нём вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «не всё». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приёмы от крало́лы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покóнчивши с соколом, орёл, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смúтою.

Смúта началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела двóрни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего «золотого века» не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без присыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порчеую.

Чтоб оправдать себя в этой неуряднице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживём...



И в доказательство, что весь вред от наук идёт, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орёл. Просвещение прекратило течение своё.

Во всей двёрне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шёпоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как-то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужеского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помер.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сыч и филины защищались твёрдо: жалко им было с тёплыми казёнными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увёртки их опровергнул, спросив: да сиянсы-то зачем? И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородинкам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли её в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева

заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днём молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орёл с орлицею и при них ястреб да коршун. А вдаль — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накаплилось на нём недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (вороньё в счёт не полагалось), стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донёс, что коршун по секрету читает часослов, а коршун съёбедничал, что у ястреба в дупле «новейший песенник» спрятан.

Орёл смутился...

Но тут уж сама История ускорила своё течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились: а что, бишь, на этот счёт в азбуке-копёйке сказано? И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орёл, да не тут-то было: сладкое помещичье житьё до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок», то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе, — об этом он умолчал.

КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ёрш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слухавить. Что именно разумёл ёрш под выражением «слухавить» — неизвестно, но только

всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ёрш возражал:

— Вот ужó увидишь!

Карась — рыба смиренная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуре своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадёжности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей по преимуществу сётю или неводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь снаровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождём, когда вода бывает мутная, и затем, заводя невод, начинают хлопотать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она даёт неподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что, однажды сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во

вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задира́л карась.

— Не верю, — говорил он, — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспевание, верю в гармонию и глубоко убеждён, что счастье — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дожидайся! — иронизировал ёрш.

Ёрш спорил отрывисто и беспокойно. Это рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у ней на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда ещё не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития, она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен всё это в расчёт принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознаёт, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождётся! — отзывался карась. — И не я один, все дождётся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне благодаря новейшим исследованиям можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, её породившие, нельзя уже считать неустраняемыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придёт, когда и шук не будет?

— Каких таких шук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нём говорили: на то шук в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде тех нис и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фófан ты, фófан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щúках понятия не имéешь!

Ёрш презрительно пошевеливал плáвательными пёрыми и уплывáл восвойси; но спустя мáлое время собесéдники опáть гдé-нибудь в укромном мéсте сплывáлись (в водé-то скúчно) и опáть начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добрó играет, — разглагольствовал карáсь. — Зло — éто так, по недоразумéнию допущено, а глáвная жизненная сýла всё-таки в добрё замыкаётся.

— Держи кармáн!

— Ах, ёрш, какие ты несообразные выражéния употребляешь! «Держи кармáн»! рáзве éто отвёт?

— Да тебé по-настоящему и совсём отвечáть не слéдует. Глúпый ты — вот тебé и сказ весь!

— Нет, ты послúшай, что я тебё скажú. Что зло никогдá не было зýждущей сýлой — об éтом и истóрия свидéтельствует. Зло душило, давило, опустошáло, предавáло мечú и огнó, а зýждущею сýлой явлáлось тóлько добрó. Оно устремлáлось на пóмощь угнетённым, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чýства, оно давáло ход парéниям умá. Не будь éтого войстину зýждущего фáктора жизни, не было бы и истóрии. Потому что ведь, в сýщности, что такое истóрия? Истóрия — éто пóвесть освобождéния, éто рассказ о торжествé добра и рáзума над злом и безúмием.

— А ты, вóдно, допóдлинно знáешь, что зло и безúмие посрамлены? — подтрунивал ёрш.

— Не посрамлены ещё, но бóдут посрамлены, — éто я тебё вёрно говорю. И опáть-таки сошлóсь на истóрию. Сравни, что нéкогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не тóлько внéшние приёмы зла смягчóлись, но и сáмая сýмма егó примéтно умéньшилась. Возьми хоть бы нáшу рыбную порóду. Прёжде нас во всякое время ловили, и преимúщественно во время «хóда», когдá мы, как одурёлые, сáми прямо в сеть лéзем, а нынче именно во время «хóда»-то и

признаётся вредным нас ловить. Прёжде нас, можно сказа́ть, са́мыми ва́рварскими спосо́бами истребля́ли — в Ура́ле, ска́зывают, во вре́мя ба́грения, вода́ на мно́гие ве́рсты от ры́бьей кро́ви кра́сная сто́яла, а ны́нче — шаба́ш. Не́воды, да ве́рши, да у́ды — бо́льше что́бы ни-ни! Да и об э́том ещё́ в комите́тах рассу́жда́ют: ка́кие не́воды? по ка́кому слу́чаю? на ка́кой предме́т?

— А тебе́, ви́дно, не всё равно́, ка́ким спосо́бом в уху́ попа́сть?

— В ка́кую та́кую уху́? — уди́вля́лся кара́сь.

— Ах, прах теб́я побери́! Кара́сём зовет́ся, а об ухе́ не слыха́л! Како́е же ты по́сле э́того пра́во со мной разгово́ривать имее́шь? Ве́дь что́бы спо́ры вести́ и мнени́я отста́ивать, на́до, по ма́лой ме́ре, с обстоя́тельствами де́ла напе́рёд познако́миться. О че́м же ты разгово́риваешь, ко́ли да́же та́кой просто́й исти́ны не зна́ешь: что ка́ждому кара́сию впе́реді угото́вана уха́? Брысь... заколю́!

Ерш ошети́нивался, а кара́сь бы́стро, наско́лько позво́ляла его́ неуклю́жесть, опу́ска́лся на дно. Но че́рез су́тки друз́ья-проти́вники о́пять сплыва́лись и но́вый разгово́р затева́ли.

— Наме́днись в на́шу за́водь шу́ка загля́дывала,— объ́явля́л ерш.

— Та са́мая, о ко́торой ты наме́днись упомина́л?

— Она́. Приплыла́, загляну́ла, мо́лвила: что́й-то бу́дто уж сли́шком здесь ти́хо! должно́ быть, тут кара́сьям вод?.. И с э́тим уплыла́.

— Что же мне тепе́рича де́лать?

— Изгото́вля́ться — то́лько и всего́. Ужо́, как приплыве́т она́ да уста́вится в теб́я глази́щами, ты чешу́ю-то да пе́рья подбери́ поплоти́нее, да пра́мо и полеза́й ей в хайло́!

— Заче́м же я полезу́? Кабы́ я был в че́м-нибу́дь ви́новат...

— Глу́п ты — вот в че́м твоя́ ви́на. Да и жи́рен вдоба́вок. А глу́пому да жи́рному и зако́н повелева́ет шу́ке в хайло́ лезть!

— Не может такого закона быть! — искренно возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я её до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фófан, и теперь то же самое повторю: фófан! фófан! фófан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасём. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла своё.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились... — загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала óторопь. «О чём это фófан речь заводит? — думалось ему. — Того гляди, проврётся, а тут голавель неподалёку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредёт! — убеждал он карася. — Нё для чего пасть-то разевать; можно и шепотком что нужно сказать.

— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо, — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, горóху наёвшись, говорить надо! — кричал он на карася и, наостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хотя и глуп он, а всё-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст, — в ком нынче качества-то эти слышишь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя об ней прямо что-нибудь худое сказать, а всё-таки, того гляди, не понимаячи, сболтнёт! А об голавлях, язях, линиях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоко-

ла́ми принять гото́вы! Бе́дный кара́сь! ни за грош он ме́жду ними пропаде́т!

— Посмотри́ ты на себя́,— говори́л он кара́сью,— ну, ка́кую ты, не ро́вен час, оборо́ну из себя́ предста́вить мо́жешь? Брю́хо у тебя́ большо́е, голова́ ма́лая, на вы́думки негоро́здая, рот — чу́тошный. Да́же чешу́я на тебе́ — и та не серьё́зная. Ни про́ворства в тебе́, ни ю́ркости,— как е́сть увалень! Вся́кий, кто хо́чет, подойди́ к тебе́ и ешь!

— Да за что же меня́ е́сть, ко́ли я не провини́лся? — по-пре́жнему упо́рствовал кара́сь.

— Слу́шай, ду́рья поро́да! Е́дят-то ра́зве «за что»? Ра́зве пото́му е́дят, что казни́ть хотя́т? Е́дят пото́му, что е́сть хо́чется,— то́лько и всего́. И ты, чай, ешь. Не по́пусту по́сом-то в и́ле ро́ешься, а раку́шек выла́вливаешь. Им, раку́шкам, жи́ть хо́чется, а ты, простофи́ля, ими́ мамон с утра́ до ве́чера набива́ешь. Ска́зывай: ка́кую та́кую они́ вину́ перед тобо́й сде́лали, что ты их ежемину́тно казни́шь? По́мнишь, ка́к ты наме́днись говори́л: вот кабы́ все ры́бы ме́жду собо́й согласи́лись... А что, е́сли бы раку́шки ме́жду собо́й согласи́лись,— сла́дко ли бы тебе́, простофи́ле, то́гда бы́ло?

Вопро́с был так пра́мо и так непри́ятно поста́влен, что кара́сь сконфу́зился и слегка́ покрасне́л.

— Но раку́шки — ве́дь это...— пробормота́л он смущённо.

— Раку́шки — раку́шки, а караси́ — караси́. Раку́шкам караси́ ла́комятся, а карася́ми — щу́ки. И раку́шки ни в чём непови́нны, и караси́ не виноваты́, а и те и други́е должны́ отве́т держа́ть. Хоть сто лет об э́том ду́май, а ниче́го друго́го не вы́думаешь.

Спрята́лся по́сле э́тих ершо́вых слов кара́сь в са́мую глубь ти́ны и стал на досу́ге ду́мать. Ду́мал, ду́мал и, ме́жду про́чим, раку́шек ел да ел. И что бо́льше е́ст, то бо́льше хо́чется. Наконе́ц, одна́ко ж, доду́мался.

— Я не пото́му ем раку́шек, чтоб они́ виноваты́ бы́ли,— э́то ты пра́вду сказа́л,— объясни́л он ершу́,— а пото́му я их

ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошёл. У ракушки не душа, а пар; её ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб её не проглотить. Потяни рывком воду, аи в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с таким стариком ещё поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтобы он серьёзную пакость сделал, — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хотя я отроду щук не видел, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй-скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намерднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это ещё бабушка надвое сказала, что с теми карасями стало: или их съели, или в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголов!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видеть. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зелёною плесенью подёрнутое, самое для диспутов благоприятное. О чём ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом всё больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторство-

вал он.— Чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ёрш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своём карась.— Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огоршил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Всё-таки...

— То-то «всё-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лёжа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Напримёр?

— Напримёр, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!

— А он тебя за грубость на сковороду либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолбые чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился, где погуще, и молчи, остолоп!

Или ещё:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась.— Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, чер-

ви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси,— отрезвлял его ёрш.

— Нет, карась сам себе довлёт. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особый закон в видах обеспечения его личности издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение опубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась всё бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчёта вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему голавель с повесткой: завтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не обробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ёрш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашёл в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждёт, чтобы её полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце её просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчётцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмёт

да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сую правду сказа́л, жа́лую тебя́ этой за́водью; будь ты над не́ю на-ча́льник!

Приплы́ла на́утро щу́ка, как пить да́ла. Смо́трит на не́е карась и диви́тся: ка́ких е́му про щу́ку сплётот ни наплел, а она́ — ры́ба как ры́ба! То́лько рот до уше́й да хайло́ тако́е, что как раз е́му, карасю́, проле́зть.

— Слы́шала я,—мо́лвила щу́ка,—что о́чень ты, карась, умён и разглаго́льствовать ма́стер. Хочу́ я с тобо́й диспу́т имёть. Нача́й.

— Об сча́стии я бо́льше ду́маю,—скро́мно, но с досто́инством отве́тил карась.—Что́бы не я оди́н, а все бы́ли бы сча́стливы. Что́бы всем ры́бам во вся́кой воде́ свободо́но пла́вать бы́ло, а е́жели кото́рая в ти́ну спря́таться захоче́т, то и в ти́не пуска́й полежи́т.

— Гм... и ты ду́маешь, что тако́му де́лу ста́ться возмо́жно?

— Не то́лько ду́маю, но и всеча́сно се́го ожида́ю.

— Наприме́р: плыву́ я, а ря́дом со мно́ю... карась?

— Так что же тако́е?

— В пе́рвый раз слы́шу. А е́жели я оберну́сь да карася́-то... съем?

— Тако́го зако́на, ва́ше высокосте́пёнство, нет; зако́н гово́рит пра́мо: раку́шки, кома́ры, му́хи и мо́шки да послужа́т для ры́б пропита́нием. А кро́ме того́, поздне́йшими ра́зными ука́зами к пи́ще сопричи́слены: водя́ные бло́хи, пау́ки, че́рви, жу́ки, лягу́шки, ра́ки и про́чие водя́ные обыва́тели. Но не ры́бы.

— Малова́то для меня́. Голаве́ль! неужто́ тако́й зако́н есть? — обра́тилась щу́ка к голавлю́.

— В забвёнии, ва́ше высокосте́пёнство! — ло́вко вы́вернул-ся голавель.

— Я так и зна́ла, что не мо́жно тако́му зако́ну быть. Ну, а ещё́ ты чего́ всеча́сно, карась, ожида́ешь?

— А ещё́ ожида́ю, что справедливо́сть восторжествует. Си́льные не бу́дут тесни́ть сла́бых, бога́тые — бе́дных. Что

объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмёшь; а мне, карасю, по моим скромным способностям и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то ещё где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придётся!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это ещё когда-то будет. А вот что: так значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него во всяком случае не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! как по-нынешнему такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит! Только думаю: дай лучше сама послушаю... Ан вот ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щёлкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего,— пробормотал он в смущении,— это я по простоте.



— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты карась как карась,— только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоёл.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она ещё после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили голавли и взяли под караул.

Вечером, ещё не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он всё ещё бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник,— начала опять первая щука,— да, видно, горе моё такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нём загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защёлкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ёрш, который уж заранее всё предвидел и предсказал, выплыл вперёд и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

ВЕРНЫЙ ТРЕЗОР

Служил Трезёрка сторожем при лабáзе москóвского 2-й гильдии купца Вороти́лова и недремáнным óком хозяйское добро сторожил. Никогдá от конурý не отлучáлся; дáже Живодёрки, на котóрой лабáз стоял, настоящим óбразом не видал; с утрá до вéчера так на цепи и скáчет, так и заливáется! Caveant consules!

И премýдрый был, никогдá на своих не лáял, а всё на чужих. Пройдёт, бывáло, хозяйский кúчер овёс воровáть, — Трезёрка хвостóм мáшет, дúмает: мнóго ли кúчеру нúжно! А случится прохо́жему по своему́ дёлу мýмо двора́ идти — Трезёрка ещё где заслы́шит: ах, бáтюшки, вóры!

Ви́дел купёц Вороти́лов Трезёркину услúгу и говорýл: «Ценный́ éтому псу нет!» И ёжели случáлось в лабáз мýмо собáчьей конурý проходýть, непременно скáжет: «Дáйте Трезёрке помóев!» А Трезёрка из кóжи от востóрга лёзет: «Рáды старáться, вáше степенство!.. хám-ам! Почивáйте, вáше степенство, спокойно... хам... ам... ам... ам!»

Однáжды дáже такой слúчай был: сам чáстный прýстав к купцу́ Вороти́лову на двор пожáловал — так и на него́ Трезёрка воззрылся. Такой содóм пóднял, что и хозя́ин, и хозяйка, и дёти — все вы́бежали. Дúмали, гра́бят; смóтрят — ан гость доро́гой!

— Вашескорóдие! мýлости прóсим! Цыц, Трезёрка! Ты éто что, мерзáвец? Не узнáл? А? Вашескорóдие, вóдочки! Закусить-с.

— Благодарý. Прекрáснейший у вас пёсик, Никанóр Семёныч! благонамёренный!

— Такой пёс! такой пёс! Другóму чело́веку так не поня́ть, как он понимáет!

— Соб́ственность, знáчит, признаёт; а éто, по ны́нешнему врёмени, ах как прýтно!

И затём, оберну́вшись к Трезёрке, присовокупýл:

— Лай, мой друг, лай! Нýнче и чело́век, ёжели котóрый

с отличной стороны себя зарекомендовать хочет,— и тот по-пёсьему лаять обязывается!

Три раза Воротилов Трезорку искушал, прежде чем вполне своё имущество доверил ему. Нарядился вóром (удивительно, как к нему́ этот костюм шёл!), выбрал ночь потемнее и пошёл в амбáр воровать. В первый раз корочку хлеба с собой взял,— думал этим его соблазнить,— а Трезорка корочку обнюхал да как вцепится ему в нкру́! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: «Пиль, Трезорушка, пиль!»— а Трезорка ему́ фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублёвую бумажку замасленную — думал, на деньги пёс пойдёт; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пёс на своего хозяина заливается?

Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

— Препоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха: и жену́, и детей, и имущество — стереги! Принесите Трезорке помёв!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу́, или уж сам собой, в силу собачьей природы, лай из него́, словно из пустой бочки, валил — только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет — ляжет, а цепью всё-таки погромыхивает: вот он я! Накормить его позабудут — он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю разопсёт! Пинками его челядинцы наделят — он и в этом полезное предостережение видит, потому́ что, ежели пса не бить, он и хозяина, того́ гляди, позабудет.

— Надо с нами, со псами, серьёзно поступать,— рассуждал он,— и за дело бей, и без дела бей — вперёд наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пёс с принципами и так высоко держал своё звание, что прочие псы поглядят-поглядят да и подожмут хвост — куды тебе!

Уж на что Трезорка детей любил, однако и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

— Пойдём, Трезорушка, с нами гулять!

— Не могу.

— Не смеешь?

— Не то что не смею, а права не имею.

— Пойдём, глупый! мы тебя потихоньку... никто и не увидит!

— А совесть?

Подожмёт Трезорка хвост и спрячется в конурѹ, от соблазна подальше.

Сколько раз и вѹры сговаривались: поднесѣмте Трезорке альбом с видами Замоскворѣчья; но он и на это не полыстился.

— Не требуется мне никаких видов,— сказал он,— на этом дворѣ я родился, на нём же и старыѣ кости сложу — каких ещё видов нужно! Уйдите до грѣха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворѣ жила и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полѣет и перестѣнет. Поэтому её на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кѹхне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своём веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на неё не претендовал: на то она и дама, чтобы сладенько поѣсть! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кѹхонную дверь. Заслышав эти тихие всхлипы-ванья, Трезорка, с своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значѣние, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на мѣсто его сажали двѹрника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убежали к Серпуховским воротам.

В эти дни купѣц Воротилов дѣлался зол, так что когда

Трезёрка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезёрка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину го́лом, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: *mea culpa! mea maxima culpa!*¹ В сущности он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно он разо-псёт.

Но что было особенно в Трезёрке дорогого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («самá» именинница) на дворе — он, всё равно что в будни, на цепи скачет!

— Да замолчи ты, постылый! — крикнет на него Анфиса Карповна. — Знаешь ли, какой сегодня день!

— Ничего, пусть лает! — пошутит в ответ Никанор Семёныч. — Это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

Только раз в нём проснулось что-то вроде честолюбия — это когда бодливой хозяйской корове Рохле по требованию городского пастуха колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

— Вот тебе счастье какое, а за что? — сказал он Рохле с горечью. — Только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят — ты много молока даёшь; плохо кормят — и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтоб

¹ Мой грех! мой тяжёлый грех! (лат.)



хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, *motu proprio*¹, день и ночь маюсь, недоём, недосплю, инда осип от беспокойства,— а мне хоть бы гремúшку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

— А цепь-то? — нашлась Рóхля в ответ.

— Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак *. Что он, стало быть, награждён уже изначала, награждён ещё в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему слéдует только об одном мечтать: чтоб старую, проржáвленную цепь (он её однажды уже порвáл) сняли и купили бы новую, крепкую.

А купец Воротилов точно подслушал его скромно-честолюбивое вожделение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепáл её к Трезоркину ошейнику. Лай, Трезорка, лай!

И залился он тем добродушным, завистивым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбáра, к которому определила их хозяйская рука.

В общем, Трезорке жилóсь отлично, хотя, конечно, от времени до времени не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же как и в мире людей, лесть, проницательство и зависть нередко играют роль, во́все им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это во́все не было с его стороны сомнением. Напрóтив, он пёрвый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбóсу, который доказал бы своё пёрвенство в деле непреборимости. Нередко он да́же с трево́гою подумывал о том, кто заступит его место в ту мину́ту, когда старость или смерть положит предел его несто́мчивости...

¹ По собственному побуждению (лат.).

Но уви! во всей громадной стае измельчавших и излаивавшихся псов, населявших Живодёрку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: вот мой преемник! Так что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку в мнении купца Воротилова, то она достигла только одного — и притом совершенно для неё нежелательного — результата, а именно: выказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы и в одиночку, и небольшими стаиками собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несоветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домохадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живёт со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или неодолеет. Во время таких состязаний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стиральной и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помбев.

Тем не менее купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбэр, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь — вероятно, спал, — никто этого не знал, и во всяком случае никто его спящим не заставлял. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

Купѣц Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: «И сам не понимаю, как со мной грех случился!» — без гнева, полным участия голосом сказал:

— Что, старик, на кухню собрался? Старая стала, слабая стала? Ну ладно! ты на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием Трезорке подручного. Задача была нелёгкая; тем не менее после значительных хлопот успели-таки отыскать у калужских ворот некоего Арапка, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку с течением времени окончательно перевели на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса... Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однако ж, шло, и Трезорка всё больше и больше старился. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

— Боля ваша, Никанор Семёныч, а Трезорка начал паршиветь, — доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

— Как бы дети около Трезорки не испортились... Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка че-

рез два дня вбежала уже совсем обозлённая и объявила, что она ни мину́ты не останется, ежели Трезорку из кухни не уберу́т. И так как кухарка мастерски готовила поросёнка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена́.

— Не к тому́ я Трезорку готовил,— сказа́л купе́ц Воротилов с чувством,— да, видно, правду пословица говорит: соба́ке — соба́чья и смерть... Утопи́ть Трезорку!

И вот вывели Трезорку на двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотре́ть на предсмертную агонию верного пса; да́же хозяйские де́ти окно́ обсыпали. Ара́пка был тут же и, уви́дев ста́рого учи́теля, привётливо замахал хвостом. Трезорка от ста́рости еле передвига́л нога́ми и, по-видимому, не понимал; но когда́ нача́л приближа́ться к ворота́м, то си́лы оста́вили его́ и на́до бы́ло его́ тащи́ть во́локом за загривок.

Что зате́м произошло́ — об это́м исто́рия умалчивает, но наза́д Трезорка уж не возврати́лся.

А вско́ре Ара́пка и со́сем изгна́л Трезоркин о́браз из се́рдца купца́ Вороти́лова.

НЕДРЕМАННОЕ ОКО

В не́котором ца́рстве, в не́котором госуда́рстве жил-был Прокуро́р, и бы́ло у него́ два о́ка: о́дно — дрема́нное, а дру́гое — недрема́нное. Дрема́нным о́ком он ро́вно ниче́го не ви́дел, а недрема́нным ви́дел пустяки́.

В это́м ца́рстве исста́ри так бы́ло заведе́но: как то́лько у обыва́теля роди́лся ма́льчик с двумя́ о́ками, дрема́нным и недрема́нным, так то́тчас в реви́зских сказа́х записываю́т: у обыва́теля Курале́са Прока́зникова, на Болоте́, уроди́лся мальчи́шечка, по и́мени Прокуро́р. И пото́м ожида́ют, когда́ мальчи́шечка в соверше́нные лета́ приде́т.

Так бы́ло и тут. Не успе́л мальчи́шечка от земли́ выра́сти, как ему́ сейча́с же доложи́ли:

— Пожалуйте!

— С удовольствием. Но в скором ли времени предвидится сенаторская вакансия?

— Ах, сделайте милости! Как скоро, так сейчас.

— То-то.

Приосанился мальчишечка, посмотрелся в зеркало, видит: какой такой оттуда хитрец выглядывает?— аи это он самый и есть. Ладно. И, не говоря худого слова, сейчас же за дело принялся: дреманным оком ничего не видит, а недреманным видит пустяки. «Я, говорят, здесь на минутку, по дороге в сенат, а там и оба ока сомкну. Да и уши у меня, бог даст, к тому времени заложит».

Увидели мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники и воры, что мальчишечка на них недреманным оком смотрит, и сейчас же испугались. Думали-думали, как с этим делом быть, и решились всем с недреманной стороны уйти и укрыться под сенью дремального прокурорского ока. И сделалось с недреманной стороны так чисто, как будто ни лиходеев, ни воров, ни душегубов отроду никогда не бывало, а были и есть только обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, изменники и ханжи, до которых прокурору, собственно говоря, и дела нет. А мальчишечка видит, что от одного его недреманного взгляда такие чистые горизонты открылись, и радуется. Неужто, думает, начальство усердия его во внимание не примет?

И пошел он по судебно-административному полю гоголем похаживать. Ходит да посвистывает: «Берегись! В лужке воды утоплю!»

Только видит: стоит человек и криком кричит: «Ограбили! батюшки, караул!» Разумеется, он — к ограбленному.

— Что ты, такой-сякой, на всю улицу зевашь! вот я тебя!

— Помилуйте, Прокурор Куралесыч, воры!

— Где воры? какие воры? Врешь ты: никаких воров нет и не бывало (а они у него под ноздрю с дремальной стороны притаились)! Это вы нарочно, бездельники, незаслуживаю-

щими вниманія жалобами начальство затруднить хотите...
взять его под арест!

Идёт дальше, слышит: «Мздоимцы, Прокурор Куралёсыч, одолели! мздоимцы! лихоимцы! кривотолки! прелюбодёны!»

— Где мздоимцы? какие лихоимцы? никаких я мздоимцев не вижу! Это вы нарочно, такие-сякие, кричите, чтобы авторитеты подрывать... взять его под арест!

Ещё дальше идёт; слышит: «Доброе казённое и общественное врозь тащат! чего вы, Прокурор Куралёсыч, смотрите! вон он, хищники-то, вон!»

— Где хищники? кто казённое доброе тащит?

— Вон хищники! вон он! Вон он какой домно на краденые деньги взбодрил! а тот вон — ншь сколько тысяч десятин земли у казны украд!

— Врёшь ты, такой-сякой! Это не хищники, а собственники! Он своим имуществом спокойно владеют, и все документы у них палицо. Это вы нарочно, бездельники, кричите, чтобы принцип собственности подрывать! Взять его под арест!

Дальше — больше. «Женя мужу жизнь с утра до вечера точит!», «Муж жену в гроб, того гляди, заколотит!»—«Ни за чем вы, Прокурор Куралёсыч, не смотрите!»

— Я-то не смотрю? А ты видел ли, какое у меня око? Одно оно у меня; но — ах, как далеко я им вижу! Так далеко, что и твою, бездельникову, душу насквозь понимаю! И знаю, чего вам, негодникам, хочется: семейный союз вам хочется подорвать! Взять его под арест!

Словом сказать, все союзы перебрал и везде нашёл: сами по себе стоят союзы неизбежно, но крикунишки непременно им как пить дадут, ежели им своевременно уста не замазать. А когда до государственного союза мальчишечка дошёл, то и разговаривать не стал. Кричит как озарённый: «Взять его! связать его! замуровать! законопатить!» Сам кричит, а недреманное око так у него колесом и вертится в глазнице.

День-деньской таким манером мальчишечка маётся, союзы оберегает, а к вечеру домой отдыхать вернётся. Ляжет на кро-

вѣть и думает: «Всѣ-то я в полной мѣре, как хочется начальству, выполнил! хищников, мздоймцев, распутников и злоупотребителей с помощью одного моего недреманного ока рассеял, а с подрывателями, кои не дельными жалобами начальство утруждают, особенно распорядился! Чисто, благородно. Надеюсь, что и начальство, с своей стороны, мой труд в надлежащей мѣре оценит».

— Чего, бишь, мне, напримѣр, пожелать? — говорил он сам себѣ. — В сенат ѣжели — так я еще на одно ухо слышу, да сенат от меня и не уйдѣт... Вот кабы — хоть не тепѣрь, а со временем — вот кабы в... да нет, это уж разве когда и обонянне я потеряю! Нет, вот сейчас, в ближайшем будущем, чего бы мне, напримѣр, пожелать?

Расстраиивал-расстраиивал себѣ воображеніе, да, наконец, и расстроил. «Жениться надо как можно скорѣе — вот что!»

И так как он для поисков невесты недреманное око в ход пустил, то, разумеется, сейчас же нашѣл. А именно: девицу Агриппину такой красоты, что ни в сказках сказать, ни пером описать. И при ней двести тысяч: точь-в-точь как при билете внутреннего с вѣнгрышами займа полагается.

Женился. Отпраздновали свадьбу на славу в кухмистерской Завитаева и домой на новосѣлье приѣхали. Только смѣрит мальчишечка, а новобрачная с чего-то под сень дреманного ока спряталась. Хвать-похвать: Агриппина! где ты?

— Не Агриппина я, но Агѣфья. И тезоименитство мое бывает пятого февраля.

Вот так штука! Даже поблѣднѣл мальчишечка с испугу: неужто в прохожденіе его службы чертовщина вмѣшалась?

— Покажись... Агѣфья! — вымолвил он.

Смѣрит: и у Агѣфьи, как у него, одно око дреманное, а другое — недреманное. Только у него недреманное око с правой стороны, а у нее — с левой. Точно им сама судьба определила совместно прокурорское служеніе проходить.

— Приданое-то у тебя есть ли?

— И приданого у меня нет. Одно недреманное око — только и всего.

Ах, прах поберй, да и совсём! Была-была Агриппина и вдруг Агафья сделалась! Стал он разыскивать, каким манёром такое дело случиться могло, и оказалось, что очень просто. Покуда он недреманным оком в одну сторону стрелял, Агриппина на минуточку отлучилась да и вышла замуж за офицера. А он за себя взял... Агафью!

Делать, однако, нечего. Недаром же Завитаеву деньги за свадьбу отданы — надо как-нибудь жить. Легли они спать, да не остереглись: смотрят друг на дружку недреманными глазами — инда жутко ему стало! Ему-то жутко, а ей точно с гуся вода — даже приятно!

— Вёдьма ты, что ли? — спросил он её. — Сказывай!

— Нет, я не вёдьма, но твоё законная жена. А до сих пор я крадеными старыми носками на Апраксинею торговала.

— Как «крадеными»? каким же образом я тебя не изловил?

— Разве ты можешь кого-нибудь изловить? Ты всё в одну сторону оком стреляешь, а что у тебя под левой ноздрёй делается — не видишь.

— Ну, давай вместе воров ловить, коли так. Я — справа, ты — слева.

Словом сказать, так отлично устроились, что через год у них сын родился, и тоже с недреманным оком.

— Вот так чудак! — воскликнул мальчишечка, взглянув на своего первенца.

Тут только он догадался, что как ни дорого недреманное око, а два обыкновенных глаза, пожалуй, ещё того дороже.

Служба его между тем своим чередом прохождение имела. Постепенно он все тюрьмы крикунами наполнил, а хитники, мздоимцы, концессионеры и прочие подлинные потрясатели тем временем у него под сенью дремального ока благодумствовали.

Долго ли, коротко ли так шло, только начал он со временем и на оба уха припадать. Даже недреманное око и то постепенно слипаться стало. Самое время, значит, в сенат поспешать, покуда обоняния ещё не утратил.

Слышит... зовут!

Надел он фуфайку фланелевую, носки шерстяные да сапоги валяные на ноги натянул; уши канатом законопатил, камфарным маслом надушился, в шубу закутался, а Агафья сверху шубы шерстяным шарфом его повязала. И пошёл в сенат. Идёт и думает: какой такой сон на первый раз он, сидючи в сенате, увидит?

Но тут случилось нечто совсем неожиданное. Покуда он недреманным оком всё вправо да вправо стрелял, а сенат взял полевее да с дремальной стороны и притаялся. Ищет Прокурор Куралёсыч — и носом в воздухе потянет, и языком щёлкнет, и даже руками кругом пошарит, — никак-таки нащупать сената не может.

Наконец видит: городской на посту бодрствует. Натурально — к нему. Так и так, служивый: не знаешь ли, куда девался сенат?

Взглянул на него городской и сразу недреманную душу его разгадал.

— Знаю, — сказал он, — сенат, вои он! Вои он на солнышке играет! Ишь посматривает, как бы какой шалуни на закон не наступил... Ах ты, ах! Только не про всякого у нас место в сенате припасено. Ты вот глядел недреманным-то оком в книгу, а видел фигу, так нынче этаких в здешнее место сажать не велено. Воротись лучше, калёка, домой, валенки-то снимй, глаза-то протри, уши промой да и ложись с бабой на печь спать!.. А у нас нынче так в здешнем месте заведено: чтобы и голова, и прочие члены — всё чтобы на своём месте было, а глаза и уши — у всех чтобы настежь!

Так и не попал Прокурор Куралёсыч в сенат.

СОСЕДИ

В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семёнычем», а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый — даже отличный. Как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, говорят, с моей стороны лепта. Другой, говорят, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно — это уж свинство. А я ещё ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но взамен того производил ценности. И тоже говорил: это с моей стороны лепта.

Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым — всем досужно, сядут на лавочку перед хоромы Ивана Богатого и начнут калякать.

— У тебя завтра с чем щи? — спросит Иван Богатый.

— С пустом, — ответит Иван Бедный.

— А у меня с убиной.

Зевнёт Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.

— Чудно на свете дёется, — молвит он, — который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столё; а который при полёзном досуге состоит — у того и в будни щи с убиной. С чего бы это?

— И я давно думаю: с чего бы это? да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привёз дров — смотришь, навёз возить или с сохой выезжать порá пришлá. Так, между делом, мысли-то и уходят.

— Надо бы, однако, нам это дело рассудить.

— И я говорю: надо бы.

Зевнёт и Иван Бедный с своей стороны, перекрестит рот, пойдёт спать и во сне завтрашние пустые щи видит.

А на друго́й день проснётся — смóтрит, Ива́н Богáтый сюрпри́з ему́ пригото́вил: убо́ины ра́ди пра́здника во щи присла́л.

В сле́дующий предпра́здничный кану́н о́пять сойдутся сосе́ди и о́пять за ста́рую ма́терию приму́тся.

— Ве́ришь ли, — мо́лвит Ива́н Богáтый, — и наяву́ и во сне то́лько о́дно я и ви́жу: сколь мно́го ты про́тив меня́ оби́жен!

— И на э́том спáсибо, — отве́тит Ива́н Бе́дный.

— Хо́ть и я благо́рдными мы́слями нема́лую по́льзу о́бществу прино́шу, о́дна́ко ве́дь ты... не вйди-ка ты во́время с сохóй — пожа́луй, и без хлéба пришлòсь бы насидéться. Так ли я говорю́?

— Э́то так то́чно. То́лько не вйехать-то мне нельз́я, по́тому́ что в э́том слúчае я пёрвый с го́лоду пропа́ду.

— Пра́вда тво́я: хитро́ э́та мехáника устро́ена. О́дна́ко ты не думáй, что я её одобря́ю, — ни бо́же мой! Я то́лько об о́дном и тужу́: «Го́споди! как бы так сде́лать, что́бы Ива́ну Бе́дному хоро́шо бы́ло?! Что́бы и я — свою́ по́рцию, и он — свою́ по́рцию».

— И на э́том, сýдарь, спáсибо, что беспоко́итесь. Э́то действите́льно, что кабы́ не добродéтель ва́ша — сидéть бы мне пра́здник на тю́ре на о́дной...

— Что ты! что ты! ра́зве я об то́м! Ты об э́том забúдь, а я вот об чём. Ско́лько раз я решáлся: пойду́, мол, и отда́м пол-имéния ни́щим! И отдава́л. И что же! Сего́дня я о́тдал пол-имéния, а наза́втра просну́сь — у меня́ вме́сто убýлой-то по́ловины це́лых три чéтверти о́пять обя́вилось.

— Знача́ит, с процéнтом...

— Ничего́, бра́тец, не поде́лаешь. Я — от де́нег, а де́ньги — ко мне. Я бе́дному приго́ршню, а мне вме́сто о́дной-то неве́домо отку́да две. Вот ве́дь чу́до како́е!

Наговоря́тся и начи́нут позёвыва́ть. А ме́жду разгово́ром Ива́н Богáтый всё-таки думу́ думáет: что бы тако́е сде́лать, что́бы за́втра у Ива́на Бе́дного щи с убо́иной бы́ли? Думáет-думáет да и ви́думáет.

— Слушай-ка, миляга!— скажет.— Теперь уж недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя по силе возможности награжу,— словно бы ты и взаправду работорал.

И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработорал».

Долго ли, коротко ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду нестерпёж ему стало. «Пойду, говорит, к самому Набольшему, паду перед ним и скажу: «Ты у нас око царёво! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну версту поверстать. Чтобы с него рекрут—и с меня рекрут, с него подвода—и с меня подвода, с его десятины грош—и с моей десятины грош. А души чтобы и его и мой от акциза одинаково свободны были!»*

И как сказал, так и сделал. Пришёл к Набольшему, пал перед ним и объяснил своё горе. И Набольший за это Ивана Богатого похвалил. Сказал ему: «Исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивашку Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы подданные, в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят!» Сказал это Набольший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы, в виде опыта, обоим Иванам суд равный был и даны равные, а того бы, как прежде было: один тяготы несёт, а другой песенки поёт—впредь чтобы не было.

Воротился Иван Богатый в своё село, земли под собою от радости не слышит.

— Вот, друг сердешный,— говорит он Ивану Бедному,— своротил я, по милости начальнической, с души моей камень тяжёлый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, ника-

кой вольготы не будет. С тебя рекрут — и с меня рекрут, с тебя подвода — и с меня подвода, с твоей десятины грош — и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки во щах ежедёнъ убоина будет!

Сказал это Иван Богатый, а сам в надежде славы и добра уехал на тёплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге.

Был в Вестфалии — ел вестфальскую ветчину; был в Страсбурге — ел страсбургские пироги; в Бордо был — пил бордоское вино; наконец приехал в Париж — всё вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насылу ноги унёс. И всё время об Иване Бедном думал: то-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щеки уписывает!

А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник, а завтра, коли бог ведрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жиёт, и боронует, и сено трясёт, и дрова колет. И детушки у них подросли — и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и всё-таки пустые щи не сходят у неё со стола. А с тех пор, как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.

— Незадача нам, — говорит бедняга женё, — вот и сравняли меня, в виде опыта, в тягостях с Иваном Богатым, а мы всё при прежнем интересе находимся. Живём богато, со двора покато; чего не хватись, за всем в люди покатись.

Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первую его мыслью было, что Ивашка в кабак прибыли свой таскает. «Неужели он так закоренел? неужели он не исправим?» — восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибитков достаточно. А что он не мот, не расточи-

тель, а хозяин радетьный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и всё оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на тёплые воды. Лошадь гнѣдая покалѣченная — 1; корова бѣлая, с подпалиной — 1; овца — 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки — и те прислонены к забору стоят, хотя, по лѣтнему времени, надобности в них нет и, стало быть, можно было бы без ущерба для хозяйства их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избѣ — и там всё налицо, только с крыши местами солома повѣдѣргана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов недостаѣло, так из прѣлой соломы рѣзку для скота готовили.

Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в развратѣ или в мотовствѣ. Это был коренной, задавленный русскій мужик, который напрягал все усилія, чтобы осуществить всё своё право на жизнь, но по какому-то горькому недоразумѣнню осуществлял его лишь в самой недостаточной стѣпени.

— Господи! да с чего ж это? — тужил Иван Богатый. — Вот и поровняли нас с тобой, и правъ у нас одинъ, и данн равные платим, и всё-таки пользы для тебя не предвидится — с чего бы?

— Я и сам думаю: с чего бы? — уныло откликнулся Иван Бедный.

Стал Иван Богатый умом раскидывать и, разумеется, нашѣл причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общѣственного, ни частнаго почина. Общество — равнодушное; частные люди — всѣйкий об себѣ промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сделано. Собрал Иван Семѣныч Богатый на селѣ сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общѣственного и частнаго почина... Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бы-

сер перед свиньями метёл; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспевания и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя заранее обрекают на постепенное вымирание и конечную гибель. Словом сказать, всё, что в Азбуке-копёйке вычитал, всё так и выложил пред слушателями.

Результат превзошёл все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давнишняя, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот тёмный люд. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, называли героем. И в заключение единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество Доброхотной копёйки.

В тот же день по числу приписанных к селу душ в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копёйки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал неимущим сто экземпляров Азбуки-копёйки, сказав: «Читайте, друзья! тут всё есть, что для вас нужно!»

Опять уехал Иван Богатый на тёплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз благодаря новым условиям самопомощи и содействию Азбуки-копёйки, несомненно, должны были принести плод сторицею.

Прошёл год, прошёл другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге — страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он по окончании срока воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.

Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый; на столе стояла чашка с тюрей, в которую Мária

Ивѣновна по случаю праздника подлила для запаха ложку конопляного масла. Дѣтушки обсѣли кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришѣл чужак и не потребовал сиротской доли.

— С чего бы это?— с горечью, почти с безнадежностью, воскликнул Иван Богатый.

— И я говорю: с чего бы это?— по привычке отозвался Иван Бѣдный.

Опять начались предпраздничные собесѣдования на лавочке перед хоробами Ивана Богатого; но как ни всесторонне рассматривали собесѣдники удручавший их вопрос, ничего из этих рассматриваний не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но, рассудив, убѣдился, что есть пирог с начинкою — вовсе не такая трудная наука, чтоб для неё был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же абзуга * такие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себѣ зарок — никогда ни до чего не докапываться. Наконец решились на последнее средство: обратиться за разъясненіем к мѣстному мудрецу и филозофу Ивану Простofiлю.

Простofiля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который по случаю убожества ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селѣ про него говорили, что он умѣн, как поп Семѣн, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умѣл на бобах развести и чудеса в решетѣ показывать. Посулит Простofiля красного петуха — глядь, ан петух уж гдѣ-нибудь на крыше крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо — глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись, а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.

И на этот раз Простofiля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред

ним обстоятельства дѣла и затѣмъ предложилъ вопросъ: съ чего бы?—Простофіля тотчасъ же, нимало не задумываясь, отвѣтилъ:

— Оттого, что въ плантѣ такъ значится.

Иванъ Бѣдный, по-видимому, сразу понялъ Простофілину речь и безнадежно покачалъ головой. Но Богатый Иванъ решительно недоумевалъ.

— Плантъ такой есть,—пояснилъ Простофіля, отчетливо произнося каждое слово и какъ бы наслаждаясь собственнымъ прозорливствомъ,—и въ ономъ плантѣ значится: живётъ Иванъ Бѣдный на распутни, а жилище у него не то избѣ, не то решето дырявое. Вотъ богатство-то и течётъ всё мимо да скрозь, потому задержки себѣ не видитъ. А ты, Богатый Иванъ, живёшь у самого стѣка, куда со всехъ сторонъ ручьи бегутъ. Хороши у тебя просторные, справные, частокобы кругомъ выведены крѣпкіе. Притекутъ къ твоему жителству ручьи съ богатствомъ—тутъ и застрянутъ. И ежели ты, къ примѣру, вчера пол-имѣнія роздалъ, то сегодня къ тебѣ на смѣну цѣлыхъ три четверти привалило. Ты—отъ денегъ, а деньги—къ тебѣ. Подъ какой кустъ ты ни заглянешь, вездѣ богатство лежитъ. Вотъ онъ каковъ, этотъ плантъ. И сколько вы промежъ себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умомъ—ничего не выдумаете, покуда въ ономъ плантѣ такъ значится.

ЛИБЕРАЛ

Въ некоторой странѣ жилъ-былъ либералъ, и притомъ такой откровенный, что никто слова не молвитъ, а онъ ужъ во всё горло гаркаетъ: «Ахъ, господѣ, господѣ! что вы дѣлаете! ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а, напротивъ, все говорили: «Пускай предупреждаетъ—намъ же лучше!»

— Три фактора,—говорилъ онъ,—должны лежать въ основаніи всякой общественности: свобода, обеспеченность и самодѣтельность. Ежели общество лишено свободы, то это значитъ, что оно живётъ безъ идеаловъ, безъ горѣнія мысли, не имѣя

ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознаёт себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самостоятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе: «Это оттого, что они не знают себя строителями своих судеб. Это колдовники, к которым и счастье, и несчастье приходят без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущения, или какая-нибудь фантазмагория». Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общственности.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил её и всё живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться под сению излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел, и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и протачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал наступая на горло, а всегда только *по возможности*.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал примирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая

у него всегда на первом плане стояла, и во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлечённый характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? обеспеченность? самостоятельность? Всё это отвлечённые термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти в своей общности могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение: «по возможности», которое, из двух приходящих в соприкосновение сторон, одну заставляет в известной степени отказаться от замкнутости, а другую — в значительной степени сократить свои требования.

Всё это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, препоясавшись на брань с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

— Свобода — ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? — спросил он их.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально, — ответили сведущие люди. — Ведь это только клеветают на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности мы только об ней и печалимся... Но, разумеется, в пределах...

— Гм... «в пределах»... понимаю! А что вы скажете насчёт обеспеченности?

— И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.

— А как вы находите мой идеал общественной самостоятельности?

— Его только и недоставало. Но, разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусты-ка савраса без уздай — он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздой — святое дело! Идет саврас и оглядывается: а ну-тко я тебя, саврас, кнутом шаряхну... вот так!

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет; а в третьем месте и совсем спрячется. А сведушие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

— Действуй! — поощряли они его. — Тут обойдись, здесь ступай, а там и вовсе не касайся. И будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесён!

— Вижу-то вижу, — соглашался либерал, — но только как мне стыдно свои идеалы ломать! так стыдно! ах, как стыдно!

— Ну, и постыдись маленюко: стыд глаз не выест! зато *по возможности* всё-таки затею свою выполнишь!

Однако по мере того, как либеральная затея *по возможности* осуществлялась, сведушие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны — недостаточно созрело, к восприятию не готово.

— Невмогуту нам твои идеалы! — говорили либералу сведушие люди. — Не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что действительно в предприятии его существует какой-то фаталистический грех: не лезет в штаны, да и basta.

— Ах, как это печально! — роптал он на судьбу.

— Чудак! — утешали его сведушие люди. — Есть от чего плакать! Тебе что нужно? — будущее за твоими идеалами

обеспечить?— так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради Христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовольствуйся тем, что отвоёешь «хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помалёнку да полегоньку, не торопясь да богу помолясь — смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище! В капище-то с самой постройки его никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул... И за то бога благодарить.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать, и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил, и вскоре так свикся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод даёт, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нём произойдёт процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдёт, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно, прежде нежели даст плод сторицею! Так же и тут, в погоне за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» — сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» — сидит и ждёт. Только ждёт-пождёт, а не прозябает «хоть что-нибудь» — и вся недолга. На камень оно, что ли, попало или в навозе сопрело — поди разбирай!

— Что за причина такая? — бормотал либерал в великом смущении.

— Та самая причина и есть что загребаеть ты чересчур широко, — отвечали сведущие люди. — А народ у нас между тем слабый, расползающийся. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в лодке утопить. Большую надо споровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

— Помилуйте! что уж теперь об чистоте говорить! С каким я запасом-то в путь вышел, а кончил тем, что весь его по

дорѳге растерял. Сперва «по возможности» действовал, потом на «хоть что-нибудь» съехал — неужто можно и ещё дальше под гору идти?

— Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

— Как так?

— Очень просто. Ты говоришь, что принёс нам идеалы, а мы говорим: прекрасно; только ежели ты хочешь, чтоб мы восчувствовали, то действуй применительно.

— Ну?

— Значит, идеалами-то не превозносишься, а по нашему масштабу их сократи да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим... Мы, брат, тоже травленные волки, прожектёров-то видели! Намёднись генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: «Господь, говорит, мой идеал — кутузка! пожалуйста!» Мы сдурю-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только один ярлык остались, а тут ещё подлость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуйста, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны, стали его понуждать: «Если ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори... действуй!»

И стал он действовать. И всё применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть, а сведущий человек сейчас его за рукав: куда, либерал, глаза скосил? гляди прямо!

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперёд и дело преуспевания «применительно к подлости». Идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась, — а либерал всё-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязал? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Се-

гoдня я в грязь валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец молодцом!» А сведущие люди слúшали эти его похвальбы и поддакивали: именно так!

И вот шёл он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению об идеалах калякал и свою мудрость на чём свет перевозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал навёрх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе ни облака и солнышко как угорелое на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помой из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

— Что за чудо! — говорит приятелю либерал. — Дождя нет, помой нет, а у меня на щеку брызги летят!

— А видишь, вон за углом некоторый человек притаился, — ответил приятель, — это его дело! Плюнуть ему на тебя за твой либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он «применительно к подлости» из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло.

БАРАН-НЕПОМНЯЩИЙ

Домашние бараны с незапамятных времён живут в порабощении у человека; их настоящие родоначальники неизвестны.

Брем

Были ли когда-нибудь домашние бараны «вольными» — история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем через все века баран проходит распространённым по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создаёт целые особые породы баранов, почти не имеющие меж-

ду собою ниче́го о́бщего. О́дних воспитывают для мя́са, дру́гих — для са́ла, тре́тьих — ра́ди те́плых овчи́н, четве́рых — ра́ди оби́льной и мя́гкой воли́ны.

Са́ми дома́шние бара́ны, коне́чно, все́го ме́ньше о во́льном прароди́теле сво́ем по́мнят, а про́сто зна́ют себя́ принадле́жащими к той поро́де, в кото́рой заста́л их мо́мент рожде́ния. Э́тот мо́мент составля́ет исхо́дную то́чку ли́чной бара́ньей исто́рии, но да́же и он посте́пенно тускне́ет, по ме́ре вступле́ния бара́на в зре́лый во́зраст. Так что и́стинно му́дром называ́ется то́лько тот бара́н, кото́рый ниче́го не по́мнит и не созна́ет, кро́ме травы́, се́на и ме́сятки, предлага́емых ему́ в пи́щу.

О́дна́ко грех да беда́ на ко́го не живёт. Спал одна́жды не́который бара́н и уви́дел сон. Должно́ быть, не одну́ ме́сятку во сне ви́дел, пото́му что просну́лся трево́жный и до́лго гла́зами че́го-то иска́л.

Стал он припоми́нать, что тако́е случи́лось; но, хоть убе́й, ниче́го вспо́мнить не мог. Даль ка́кая-то, сере́бряным све́том поде́рнутая, и бо́льше ниче́го. То́лько сму́тное ошу́щение э́той бесфо́рменной сере́бряной да́ли оста́лось в нём, но ника́кого опреде́ленного очертáния, ни о́дного живо́го о́браза...

— Овца́! а овца́! что я тако́е во сне ви́дел?—спроси́л он лежа́щую ря́дом овцу́, кото́рая, я́ко вои́стину овца́, о́троду снов не ви́дала.

— Спи, вы́думщик!—серди́то отве́чала овца́.— Не для то́го тебя́ из-за мо́ря привезли́, чтоб сны ви́деть да мо́дника из себя́ представля́ть!

Бара́н был поро́дистый англи́йский мерино́с. Поме́щик Ива́н Созо́нтыч Растако́вский шальны́е де́ньги за него́ запла́тил и ве́ликие на него́ наде́жды возлагáл. Но, коне́чно, не для то́го он его́ из-за мо́ря вы́вез, чтоб от него́ поколе́ние *у́мных* бара́нов пошло́, а для то́го, чтоб он со́здал для сво́его хозя́ина ста́до тонкору́нных ове́ц.

И в пе́рвое вре́мя по при́езде его́ на ме́сто бара́н действите́льно зарекомендо́вал себя́ с са́мой лу́чшей сторо́ны. Ни о че́м он не рассу́жда́л, ниче́м не интере́совáлся, да́же не по-

нимал, куда и зачѣм его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам порадоваться на него не мог и соседей любоваться водил: смотрите!

И вдруг этот сон... Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существовании его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дела блеет:

— Что такое я во сне видел? растолкуйте мне, что такое я видел?

Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и философом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели «моветон».

С тех пор как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шлѣнской породы, баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал, но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из кухни на блюде с триумфом в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава — и больше ничего знать не хотел. И что же! его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднюлюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеет, а они, овцы, между тем ходят яловы!

— Совсем нас этот аглицкой олух не совершенствует!—

жаловались овцы овчару Никите. — Как бы нам за него, за фófана, перед Иваном Созóбитычем в отвéте не быть?

— Успокойтесь, милые! — обнадежил их Никита. — Завтра мы его выстрижем, а потом крапивою высечем — шелковый будет!

Однако расчёты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон уви́дел.

С тех пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема уже сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.

И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье делается, а серьёзное, строгое, как у старого благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдет мимо, непременно скажет: не на скóтном дворе́ этому барану место — ему бы бурмистром следовало быть!

Тем не менее сколько он ни подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными.

Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы и картины исчезали неизвестно куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шёл на встречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломлённый, чего-то, сдуру, искал, а чего именно — сам себе объяснить не мог... Баран, да ещё меланхолик, — что, кроме ножа, может ожидать его в будущем?

Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное, подавленное

существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу — и не может дать ответа на вопрос: что такое свет, простор, свобода...

По мере учащения снов волнение барана всё больше и больше росло. Никогда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении; овчар Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому.

— Коли ты в бараньем сословии уродился, — говорил он солидно, — в ём, значит, и живи!

Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сна видеть, ему постоянно чуялось какое-то совсем другое «сословие».

Он не был в состоянии воспроизвести свой сон, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею.

Тем не менее с течением времени тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.

Баран — очевидно, с предвзятым намерением — с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность...

В то же время он с каждым днём всё больше и больше чах и хирёл и наконец сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешёптываться. И по мере того как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели об нём. Все знали, что он честный и бодрый баран и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастье, вовсе баранам не свойственное, но в то же время, — как многие инстинктивно догадывались, — делающее ему лично великую честь.

Сам Иван Созыбич сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле — нож, но Растаковский упорно отклонял это предложение.

— Плакали мой денежки, — говорил он, — но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрёт!

И вот возжеланный момент просияния наступил. Над полями мерцала тёплая, облитая лунным светом июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди притаялись, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.

В бараньем загоне всё спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее блевание вырвалось из его груди...

Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шаркнулись в сторону. Сторожевой пёс тоже проснулся и с лаем бросился приводить в порядок взлохотившееся стадо. Но баран уже не обра-

щёл вниманія на происшедшій переполох: он весь ушёл в созерцаніе.

Перед тускнѣющимъ его взоромъ воочию развернулась сладостная тайна его снов...

Ещё минута — и он дрогнулъ в послѣдній раз. Засѣмъ поги сами собой подогнулись подъ нимъ, и он мѣртвый рухнулъ на землю.

Иванъ Созонтычъ былъ очень смѣртью его огорченъ.

— И что за причина такая?— сетовалъ он вслухъ.— Всѣ былъ баранъ какъ баранъ, и вдругъ словно его осетило... Никита! ты пятьдесятъ летъ в овчарахъ состоишь, стало быть, долженъ дурью эту породу знать: скажи, отчего надъ нимъ такая беда стряслась?

— Стало быть, «вольного барана» во сне увидалъ,— отвѣтилъ Никита.— Увидать-то во сне увидалъ, а сообразить настоящимъ манеромъ не могъ... Вотъ онъ сначала затосковалъ, а со временемъ и издохъ. Всѣ равно какъ изъ нашего брата бываетъ...

Но Иванъ Созонтычъ от дальнѣйшаго объясненія уклонился.

— Сие да послужитъ намъ урокомъ!— похвалилъ онъ Никиту.— В другомъ мѣсте изъ этого барана, можетъ быть, козёлъ бы вышелъ, а по нашему мѣсту такое правило: ежели ты баранъ, такъ и оставайся бараномъ безъ дальнихъ затей. И хозяину будетъ хорошо, и тебѣ хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будетъ довольно: и травы, и сѣна, и мѣсятки. И овцы къ тебѣ будутъ ласковы... Такъ ли, Никита?

— Это такъ точно, Иванъ Созонтычъ!— отозвался Никита.

КОНЯГА

Коняга лежитъ при дорогѣ и тяжело дремлетъ. Мужичокъ только что выпрягъ его и пустилъ покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, съ камешкомъ: въ великую силу они съ мужичкомъ её одолѣли.

Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными рёбрами и обожжёнными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалылась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине поработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Лётом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Лётом, куда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживётся, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой солом. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошёл.

Худое Конягино житьё. Хорошо ещё, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся! — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнёт. — Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозды из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обним смерть — и Коняге и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужичий просёлочек узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнул в посёлок, вынырнет и опять невёдомо куда побежит. И на всём протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнажённые — они железным кольцом охватили деревню, и нет у неё пикуда выхода,

кроме как в эту зияющую бездну полёй. Вон он, человек, вдали идёт, может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он всё на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полёй. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадёт, точно пространство само собой её засосёт.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полёй, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет её на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей быются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало,— той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболёвшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припёке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по просёлку вихрами пыль, но ветер, который поднимает её, принесит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи как бешеные мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он только ушами автоматически вздрагивает от укулов. Дремлет ли Коняга, или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что всё нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утёхе бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то чёрные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой всё дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдёшь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперёк, и всё-таки ему конца-краю



нет. И обнажённое, и цветущее, и цепенеющее под бѣлым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берёт в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймёшь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле — раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и всё-таки не признаёт себя сытым. Ходит Коняга от зарь до зарь, а впереди его идёт колышущееся чёрное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зарь до зарь льёт на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, выюги, морозы... Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление её жизни отражается на нём мучительством, всякое цветение — отравой. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастья. Пускай солнце напоит природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию — бедный Коняга знает об нём только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой истощивается весь смысл его существования; для неё он зачат и рождён, и вне её он не только никому не нужен, но, как говорят расчётливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, которой он живёт, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нём той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтоб он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на пле-

чах и на спинѣ. Не благополучіе его нужно, а жизнь, способная выносить иго и работы. Сколько веков он несёт это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его вперёд — не рассчитывает. Он живёт, точно в тёмную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую даёт работа.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живёт, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своей кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрёлся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде всё он, всё один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живёт в нём, не умирающая, не расчленимая и не истребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идёт? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же нёмо и безучастно, как и та тёмная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дрёмлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто с первого взгляда не скажет, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Однако предание об этом родстве ещё не совсем заглохло.

Жил во времена оны старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга — неотёсанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотёсанность, долго обоих сыновей вел равно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солома, а Пустоплясу — овёс». Так с тех пор

и пошло. Пустопляса в тёплое стойло поставили, соломки мякненькой постелили, медовой сытой напоили и пшенá смý в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи.

Совсём было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живёт, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло тёплое, прискутила сыта медовая, не лезет в горло пшенó ярое; пойду проведу, каковó-то мой братец живёт!»

Смóтрит — а братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попада, а он живёт; кормят его соломою, а он живёт! И, в какую сторону поля ни взгляни, вездé всё братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какáя-нибудь в нём есть, что палка самá об него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругóm Коняги похаживать.

Один скажет:

— Это оттого его ничём донять нельзя, что в нём от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью óбуха не перешибёшь, и живёт себе смиренхонько, весь опутанный послóвницами, словно у Христá за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай своё дело, бди!

Другой возрайт:

— Ах, совсём не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что такое здравый смысл? Здравый смысл — это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь дýха и дух жизни нóсит! И, куда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Трётый молвит:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь дýха,

дух жизни — что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашёл. Этот труд даёт ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его той устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвёртый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господá, господá! всё-то вы пальцем в небо попадёте! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нём особенная причина засела, а оттого, что он спокон веку к своей юдоли привышен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он всё жив. Вон он лежит — кажется, и духу-то в нём нисколько не осталось, — а взбодрит его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошёл. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калёк этаких, по полю разбрелось — и все, как один. Калёчьте их теперича сколько угодно — их вот ни на столько не убавится. Сейчас его нет, а сейчас он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснётся мужик и разрешит все споры словами:

— Н-но, кáторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займётся.

— Смотрите-ка, смотрите-ка, — закричат они вкúпе и влúбе, — смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно, дело мастера бояться! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, кáторжный, н-но!

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР

(Ни то сказка, ни то быль)

В деревне Софонихе около полуден вспыхнул пожар. Это случилось в самый развал июньской пахоты. И мужики и бабы были в поле. Сказывали: шёл мимо деревни солдатик, присёл на завалянку, покурил трубочки и ушёл. А вслед за ним загорелось.

Деревня сгорела дотла. Только тот порядок, где были житницы, уцелел наполовину. Мужики в одночасье потеряли всё и сделались нищими. Сгорела бабушка Прасковья, да ещё Татьянин мальчик Петька. Мужики и бабы, завидев густой дым, бежали с поля как угорелые, оставив сохи и лошадей. Но спасать было уже нечего. Хорошо, что скота не было дома да навоз был только что вывезен, а то пришлось бы совсем хоть помирай. Малолетки, которые в минуту пожара играли на улице, спаслись в речку и отчаянно ревели. Дёвочки-подростки с младенцами на руках испуганно выглядывали на обуглившиеся избы и обнажённые остовы печей.

Тётка Татьяна была бодрая и ещё молодая бобылка. Лет шесть тому назад у неё умер муж, но она продолжала держать хозяйство. Платила миру за половину надёла, сама пахала, косила и жала. У неё был единственный сын Петька, лет восьми, в котором она души не чаяла и в котором уже видела будущего мужика. Он и сам видел в себе мужика и говорил: — Я, мама, буду мужик... хресьянин.

Вся деревня его любила. Мальчик был вострый и ласковый и уже ходил в школу. Бывало, идёт по деревне мимо стариков.

— Ну что, мужичок, помогаешь мамке? — спрашивают старики.

— Помогаю.

Между тем улица запружалась всяким мужицким хламом; мужику всё дорого, всё надобно. Домохозяева, окружённые домочадцами, бродили каждый по своему пепелищу и тащили всё, что попадалось на глаза: старую подошву, заржавленный

гвоздь, обрывок шлей, обломок сошника и проч. У некоторых уцелели подполицы; но так как время было голодное (петров пост), то подполицы были пусты. Один заведомый нищий, лет десять ходивший «в кусочки», метался и кричал:

— Где моя кубышка? где? кто унёс? сказывайте: кто?

Бабушка Авдотья ходила взад и вперёд по улице и всем показывала два обгоревших вьнгрышных билета внутреннего займа. Обгорели края; середка с несколькими купонами осталась целая.

— Чай, выдадут! — утешал её староста Михей. — Ишь и номера видны (на уцелевших купонах); ужó барыня в Питере похлопочет¹.

Старик собрался в кучу и обсуждали мирскую нужу. На всех лицах была написана душевная мука; у некоторых глаза сочились слезами. Решили: идти всем миром, поклониться соседней одноотчинной деревне, чтобы дала приют погорельцам, куда не будут устроены хотя какие-нибудь временные помещения. Затем снарядили старосту и послали верхом в город, в управу, за пособием и страховыми.

Пришёл сельский батюшка и, похаживая между мужиками, утешал их.

— Кто дал? Бог! — говорил он. — Кто взял? Бог! Неужто ж он не знает?

Мужики молча ему поклонились.

— А вы не унывайте! — продолжал батюшка. — С какого права? почему? как? кто дозволил? Скот — при вас, земле-

¹ Факт. В 1872 году приходила к автору крестьянка села Заозёрья (Угличского уезда) и показывала два или три обгоревших по краям билета, но так, что на уцелевших посередке купонах видны были и № билета, и серии. Я просил некоторых добрых знакомых ходатайствовать в банке. Всем казалось дело несомненным, но г. Ламанский, тогдашний управляющий банком, рассудил иначе. Ни возобновить билеты, ни даже выдать за них нарицательную цену оказалось невозможно. Это, извольте видеть, польза банка. Вот как истинные савоиники блюдут интересы казны! (Прим. автора.)

дѣльческіе орудія целѣхоньки, навѣз вывезен — чегѣ ещё земледѣльцу нужно? А вы рѣшете! Вот ужѣ управа на постройку денег отпустит; помещица — нуждающимся хлѣбца пришлѣт; и я тоже... разве я не молюсь за вас? Я не только за вас, но и за *всех* молюсь. «И *всех* православныхъ христіянъ» — вотъ какъ.

Опять поклонились мужики, а словоохотливый батюшка продолжалъ:

— Коли страхъ божій будете въ сердцахъ сохранять да храмъ божій усердно посещать, такъ и не увидите, какъ богъ сторицей вознаградитъ. Хлѣбъ нынче обещаетъ жатву изрядную. Озимые отмѣнные; яровые, богъ дастъ, поправятся. Ужѣ снимете у барыни полѣвину — вотъ вы и с сѣномъ. Свезете по возкѣ, по другому — ан и денежки въ кошелѣ завелись; а там озимое, ржицы на базаръ свезете — опять деньги; а наконецъ и овсецѣ — тоже деньги. Въ будущемъ же годѣ и не увидите, какъ на мѣстѣ истребленныхъ неумолимымъ пламенемъ хижинъ будутъ красоваться новыя дома, удобныя и просторныя, и все вы проживете въ нихъ, кійждо подъ смоковницею своею, и всерядостно и всецѣло возблагодарите господа вашего за ниспосланное вамъ благодѣяніе. Вотъ увидите.

А тѣтка Татьяна беспомощно ходила по своему пепелищу, сгребала тлѣющіе бревна и выкликала:

— Петь, а Петь, гдѣ ты, милый? Откликнись!

И не слыхала, какъ вѣтхій старикъ Калистратычъ говорилъ ей:

— Смотри, не въ лесъ ли онъ убѣгъ? Давеча видѣлъ я его. Сидѣлъ у житницы на приступочкѣ, какъ ваша-то избѣ занялась. Смотрю: кружится Пѣтька по горнице, рубашонкой раздуваетъ. Я ему кричу: толкни, милый, дверь, толкни! Только кружилъ онъ, кружилъ, а потомъ и ничего не стало видно. Наверное, убѣгъ въ лесъ съ испугу.

Но Татьяна ничего не чувствовала, кромѣ того, что сердце ея рвется на части.

— Петь, а Петь! гдѣ ты, милый? Откликнись! — раздавался ея вопль среди общаго говора деревенскаго люда.

Наконецъ человека два сжалились надъ нею и пришли на по-

мощь. Разворóчали обрушившийся потоло́к и под дымящимися обло́мками его́ нашли́ труп ма́льчика. Вся сторона́ те́ла и лица́, обращённая кве́рху, представляла безобра́зную че́рную ма́ссу; но та, кото́рая прилега́ла к по́лу, оста́лась нетро́нутою.

Татья́на пошатну́лась, в глаза́х потемнело́, и из груди́ на всю дере́вню вы́рвался потряса́ющий её вопль:

— Го́споди! ви́дишь ли?

Этот вопль услыха́л и ба́тюшка и, разуме́ется, поспеши́л с утеше́нием.

— Ро́пщешь? — говори́л он с ла́сковой укори́зной. — А Ио́ва по́мнишь? Нет? Так я тебе́ напо́мню! Он был бога́т и сла́вен, имёл дете́й, стада́ и сокро́вища — и вдруг, с дозво́ления бо́жия, всё бы́ло у него́ о́тнято: и дете́и, и скот, и друзы́я, а сам он был пораже́н прока́зою, изгнан из го́рода и лежа́л у городски́х воро́т, на гно́ище. Псы лиза́ли его́ ра́ны... псы! Но и за всем тем он не то́кмо не возропта́л, но наипа́че возлюбил го́спода, созда́вшего его́. И бог, ви́дя такову́ю его́ преда́нность, воззре́л на него́. Че́рез коро́ткое вре́мя Ио́в был и здоро́в, и бога́т, и сла́вен бо́лее пре́жнего. Стада́ умно́жились, дете́й наро́дилось доста́точно, сло́вом сказа́ть — всё...

Одна́ко и ба́тюшкины увеща́ния доходили́ до Татья́ны в фо́рме сму́тного и назо́йливого шу́ма. Она́ устремила́ глаза́ на ту ли́нию, кото́рая разделя́ла уцеле́вшую часть Пе́тькина лица́ от обугли́вшейся, и ти́хо шепта́ла:

— Го́споди! ви́дишь ли?

В уса́дбе в это́ вре́мя до́брая ба́рыня, Анна Андре́евна Копе́йщикова, пра́дничала́ день своего́ рожде́ния. Собра́лись немно́гие, но и́скренние друзы́я: предводи́тель Кипя́щев с жено́ю, испра́вник Шипя́щев с племя́нницею, да ещё Ива́н Ива́ныч Глаз, партикуля́рный челове́к, про кото́рого говори́ли, что при нём язы́к за зубами́ держа́ть на́до. Впро́чем, так как тут бы́ли всё лю́ди, при кото́рых то́же ну́жно бы́ло язы́к держа́ть на привя́зи (сама́ Анна Андре́евна говори́ла, что она́ где-то «слу́жит»), то Ива́н Ива́ныч чу́ствовал себя́ в это́й

компани очень удобно. Присутствовал тут и батюшка с по-падьей.

Анна Андреевна была генеральская вдова, лет сорока с небольшим, ещё красивая и особенно выдающаяся роскошным бюстом на балах и вечерах, где обязательно декольти и где её бюст приковывал к себе взоры людей всех возрастов и всех оружий. Но она раз навсегда сказала себе: «Ni-ni — c'est fini»¹, и всю себя отдала своим детям. За это в свете про неё говорили: «C'est une sainte»², а за патриотизм: «C'est une fière matrone!»³ Как и все русские дамы, она говорила по-французски, знала un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie (cette pauvre Léda!)⁴, долго жила за границей, а в последнее время сделалась патриоткой и полюбила «добрый русский народ». Три года тому назад она посетила родные Горбилево и с тех пор ездила туда каждое лето. Поставила в саду мавзолей покойному мужу и каждый день молилась. Ни с кем не знакомилась, кроме испытанных «друзей порядка», хозяйства не вела, а отдавала землю мужикам исподу и, видимо, экономничала. У неё был сын Серёжа, правовед лет шестнадцати, и восемнадцатилетняя дочь Вёрочка, шустрая особа, которая тоже знала un peu d'arithmétique et un peu de mythologie.

Господа уже возвратились из церкви и сидели за завтраком, когда прибежали сказать, что Софониха горит. Батюшка мгновенно скрылся увещевать; прочие побежали к окнам и смотрели. За громадной тучей дыма не было видно пламени, но дым прямо летел по ветру на усадьбу, и чувствовался в комнатах горький запах его. Людям тоже не было видно, но по дороге бежали к пожару толпы соседних крестьян и дворовых.

— Как вы хотите, господа, — сказала наконец Анна Ан-

¹ Ни-ни — это кончено (франц.).

² Это — святая (франц.).

³ Это твёрдая патристка! (франц.)

⁴ Немножко арифметики, немножко географии и немножко мифологии (ах, эта бедная Лэда!) (франц.).

дрёевна, — а я не могу оставаться равнодушной зрительницей. Ведь он — мой. Злые люди разлучили нас, — надеюсь, временно, — но я всё-таки помню, что он — мой.

Но ей не дали одной совершить подвиг самоотвержения и всей компанией вызвались сопутствовать ей.

— Да и вообще это наш долг, — продолжала Анна Андреевна, — если б даже это были и не мои крестьяне, всё-таки наша священная обязанность — быть там, где страдают. Мы обеднели, мы обижены... но мы всё забыли. Мы помним только, что к нам обращает взоры страждущий меньший брат!

Узнавши, что в этот день пекли хлебы для рабочих и дворовых, она велела разрезать несколько на ломти и снести погорельцам.

— А завтра опять испечёте хлеба для своих... надо же! Да не забудьте солью посыпать!

Словом сказать, сделала всё, что было в её власти, и наконец захватила портмоне, сказав: «Это на всякий случай!» И Вёрочка, по примеру матери, взяла кошелек с заветными светленькими монетами.

Компания остановилась у входа в деревню, но Вёрочка и мамзель Шипящева не утерпели и пошли вглубь по улице.

— Скажите мужичкам, что я им две четверти ржи жертвую! — крикнула им вслед Анна Андреевна.

Минут через пять Вёрочка прибежала назад, вся в слезах.

— Ах, мамочка! — объявила она. — Там есть бедная женщина, у которой сгорел мальчик-сын! Ах, как страшно... Что с ней делается! Батюшка увещивает её, а она не слушается, только повторяет: «Господи! видишь ли?» Мамочка! это ужасно, ужасно, ужасно!

— Жаль бедную, но какая ты, однако ж, нервная, Вера! — упрекнула её Анна Андреевна. — Это не годится, мой друг! Везде промысел — это прежде всего нужно помнить! Конечно... это большая утрата; но бывают и не такие, а мы покроемся и терпим! Помнишь: крах Баймакова и наш текущий счёт... Давал шесть процентов... и что ж! Впрочем, соловьи

бáсиями не кóрмят. Господá,— обратíлась она́ к окружа́ющим,— сде́лаемте ма́ленькую коллэ́кту¹ в по́льзу бе́дной страда́льницы ма́тери! Кто ско́лько мо́жет!

Она́ трéпетною руко́ю вы́нула из портмонé десятирублёвую бума́жку, положи́ла её на ладо́нь и протяну́ла ру́ку. Вéroчка то́тчас же положи́ла туда́ весь свой кошелёк; го́сти то́же вы́нули не́сколько ме́лких ассигна́ций. То́лько Ива́н Ива́ныч Глаз отверну́лся в сто́рону и посви́стывал. Собрало́сь о́коло тридца́ти рублёй.

— Ну вот, снеси́ ей! — сказа́ла Анна Андре́евна до́чери. — Скажи́, что свет не без до́брых люде́й. Да подтверди́ мужичка́м насче́т ржи... две че́тверти! Да хле́ба принесли́ ли? Скажи́, чтоб ро́здали! Это для утоле́ния пе́рвого го́лода!

Вéroчка бы́стро побежа́ла. Ей представля́лось в э́ту мину́ту, что она́ — а́нгел-храните́ль и помава́ет сере́бряными крыла́ми в небе́сной лазу́ри с тридца́тью рублёми в рука́х. Она́ заста́ла Татья́ну всё в том же положéнии. Послédняя стоя́ла с широко́ откры́тыми глаза́ми, машина́льно шевели́ла губа́ми, без вся́кого призна́ка самочу́вствия. Ба́тюшка по-пре́жнему стоя́л по́дле неё и рассказы́вал приме́р из исто́рии пе́рвых му́чеников вре́мён жесто́кого ца́ря Неро́на. Татья́не ещё не представля́лся вопро́с: что с ней бу́дет? нужна́ ли ей изба́, по́ле и вообще́ всё, что до сих пор наполня́ло её жизнь? или она́ должна́ бу́дет скита́ться по бе́лу свéту в батра́чках?

И вдруг — а́нгел-храните́ль.

— На́ тебе́, мила́я! ма́мочка присла́ла! — говори́ла Вéroчка, протя́гивая де́ньги.

Татья́на ниче́го не поняла́, да́же не взгляну́ла на мило́стную.

— Бери́, стропти́вая! — увещева́л её ба́тюшка. — До́брые господа́ жа́луют, а ты небре́жешь!

Да́же мужички́ заинтересо́вались и приня́лись уговáривать:

— Бери́, тётка Татья́на, бери́, ко́ли даю́т! на избу́ пригоди́тся... бери́!

¹ Сбор пожéртвовани́й (франц. la collecte).

Татьяна не шелохнулась.

Вёрочка постояла, положила деньги на землю и удалилась огорчённая. Батюшка поднял их.

— Ну, ежели ты не хочешь брать, — сказал он, — так я ими на церковное украшение воспользуюсь. Вот у нас паникадило плоховато, так мы старенькое-то в лом отдадим да вместе с этими деньгами и взбодрим новое! Засвидетельствуйте, православные!

— Мамочка, она не взяла! — говорила Вёрочка со слезами в голосе.

Изумились.

— Однако душок-то этот в них ещё есть! не выбили! — загадочно молвил Глаз.

Но на этот раз Анна Андреевна не согласилась с ним.

— Есть душок — это правда; но не следует терять из вида глубину её горя! Только сердце матери может понять, каково потерять... сына!

Предсказание батюшкино сбылось. Года через два я проезжал мимо Софоники и увидел сущую метаморфозу. На месте старого пепелища стоял порядок новых домов, высоких и сравнительно просторных. Крыши, правда, были крыты соломою, но под щётку, так что глаз не огорчился ни махрами, ни висящими клочьями. Новые срубы блестели на солнце, как облупленное яйцо. Только на месте Татьяниной избы валялись неприбранные головешки, а сама она скрылась из деревни неизвестно куда. Должно быть, по святым местам странствует, Христовым именем. Мужики жили дружно и, следовательно, исправно. Усердно работали, платили выкупные и мирские платежи безнедоймочно, отбывали повинности: рекрутскую, подводную и дорожную. Ежели же требовалось сверх того, то и это исполняли с готовностью.

Исправник Шипящев не нахвалится ими.

— Эта деревня у меня — в первом номере! — говорит он. — Бог в помощь, ребята!

ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

(Разговор)

Шли путём-дорогою два мужика: Ивѣн Бодров да Фёдор Голубкин. Оба были односельчане и сосѣди по дворѣм, оба только что в весѣнный мясоѣд женились. С апрѣля мѣсяца жили они в Москвѣ в каменщиках и тепѣрь выпросились у хозяина в побывку домой на сенокосное время. Предстояло пройти от желѣзной дороги верст сорок в сторону, а такую махину, пожалуй, и привычный мужик в однѣ сутки не оплетѣт.

Шли они не торопоко, не надрываясь. Вышли ранним утром, а тепѣрь солнце уж высоко стояло. Они отошли всего верст пятнадцать, как ноги уж потребовали отдыха, тем больше что день выдался знойный, душной. Но, высматривая по сторонам, не встрѣтится ли стога сѣна, под которым можно было бы поѣсть и соснуть, они оживлённо между собой разговаривали.

— Ты что домой, Ивѣн, несѣшь? — спросил Фёдор.

— Да три пятишники хозяин до расчѣта дал. Одиу-то, признаться, в Москвѣ ещё на мелочи истратил, а две домой несѣ.

— И я тоже. Да только куда с двумя пятишниками повернѣшься?

— Тут и в пир и в мир, а отец велѣл сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и всё туда уйдѣт.

— А у нас и хлѣба-то до новаго не хвѣтит. Пришѣл сенокос, руки-то цѣлый день намахѣешь, так поневоле есть запрѣсишь. Ничего-то у нас нет, ни хлѣба, ни соли, а тоже людѣм считаемся. Говорят: вы каменщики, в Москвѣ работаете, у вас должнѣ деньги значиться... А сколько их и по осени-то принесѣшь!

— Худо наше крестьянское житьѣ! Нет хуже.

— Черѣ ещё!

Путники вздохнули и несколько минут шли молча.

— Что-то тепѣрь наши дѣлают? — опять начал Фёдор.

— Что делают! Чай, навóz вывезли, пашут... и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а всё хлеба нет. Сряду три года — то вымокнет, то сухмень высушит, то градом побьёт... Как-то нынче господь совершит!

— А у меня, брат, и ещё горе. К Дуньке волостиной старшина увязался; не даёт бабе проходу, да и вся недолга. Свах с подарками засылает; одну батюшко вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не делаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матрёнка задавилась? Тоже старшина... Терпела-терпела да и в пеглю...

— Нам худо, а бабам нашим ещё того хуже. Мы, по крайности, в Москву ходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдёт? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо, словно голенище, чёрное делается, и на человека-то не похоже. И всякий-то поровит её обидеть да обзывать...

— Давай-ка, Фёдя, песню с горя споём!

Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.

— А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Фёдор.

— И я тоже не одна спрашивал у людей: где, мол, Правда, где её отыскать? А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы её оттоле бадьями вытащили, — пошутил Фёдор.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскóмину набила.

— Старик сказывают, что дедушко Еремей ещё при старом барине всё Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.

— Прежде многие Правду разыскивали; тяжельше, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде... Придёт крестьянин о празднике в церковь, а там на

всех стенах Правда написана, только со стен-то её не снимишь.

— Это правда твоя, что не снимишь. Что крестьянин? Он и видит, да глаз неимёт. Тёмные мы люди, несчастные: вздохнешь да поплачешь: господи, помилуй! — только и всего. И молиться-то мы не умеем.

— Прёжде ходоки такие были, за мир стояли. Соберётся, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу...

— Всё-таки прёжде хоть насчёт Правды лучше было. И старики детям наказывали: одолела нас Неправда, надо Правды искать. Батюшко сказывал: такое сердце у дедушки Еремёя было — так и рвётся за мир постоять! И теперь он на печи изувеченный лежит; в чём душа, а всё об Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.

— То-то что легче, говорят, стало — оттого и Еремёя не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке и в кабаке — везде нынче лёгость...

— Прёжде господя рвали душу, теперь — мироёды да кабатчики. Во всякой деревне мироёд завёлся: рвет христианские души, да и шабаш.

— Возьмём хоть бы Васи́лия Игна́тьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; обок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением. Старшина́ приедет — с ним вместе бражничают, долги его прёжде казённых податей собирает; становой приедет — тоже у него становится. У него и щи с убиной, и водка. Лётось молодой барин из Пётра приезжал — сейчас: попросите ко мне Васи́лия Игна́тьича!.. «Ну что, Васи́лий Игна́тьич, всё ли подобра-поздорову? хорошо ли торгуете? Чайку вместе попьёмте... вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! печётесь о себе, другим пример показываете... И ежели, мол, вам что ну́жно, так пишите ко мне в Петербург».

— Одвѣрицу выкупил, да надѣл на семь душ! Совсѣм из міра увольнился, сам бѣрин.

— А тепѣрь мир ему в нѣги кланяется, как придет время подати вносить. Мѣром ему и сенокос убирают и хлеб жнут...

— Вот так лѣгость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?

— У бога она, должно быть. Бог ее на нѣбо взял и не пускает.

Опять смолкли спутники, опять завздохали. Но Фѣдор вѣрил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свѣте, и ему не по праву было, что товарищ его относится к этой вѣре так легко.

— Нет, я попробую,— сказал он.— Я как придѣ, так сейчас же к дѣдушке Еремѣю схожѣ. Всѣ у него выспрошу, как он Правду разыскивал.

— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали, да в Сибирь совсѣм было собрали, только бѣрин вдруг спохватился: определить Еремѣя лесным сторожем! И сторожил он бѣрские леса до самой воли, жил в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет уж, лучше ты этого дѣла не замай!

— Никак этого сдѣлать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я придѣ, сейчас она мне все расскажет... Что ж я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалеко. Я ему кишки, псу несѣтому, выпущу!

— Ишь ведь! Всѣ говорил об Правде, а тепѣрь на кишки своротил. Разве это Правда? знаешь ли ты, что за такую Правду с тобой сдѣлают?

— И пускай дѣлают. По-твоему, значит, так и оставить. Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда... Нет, это надо оставить! Сыщѣ я Правду, сыщѣ!

— Ах ты, жарынь какая! — молвил Иван, чтобы переменить разговор.— Скоро, поди, столб будет, а там дѣревнюшка. Тудѣ, что ли, полдничать пойдѣм или в поле отдохнем?

Но Фѣдор не мог уж уговориться и все бормотал:

— Сыщѣ я Правду, сыщѣ!

— А я так думаю, что ничего ты не съешь, потому что нет Правды для нас; время, вишь, не наступило! — сказал Иван. — Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба испечь, чтоб до нового есть было что.

— К тому же Василию Игнатьевичу пойдём, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Фёдор.

— И то придётся; да десятину сенокоса ему за подождание уберём! Батюшко, пожалуйста, скажет: чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб её сберёг.

— Терпим и холод и голод, каждый год всё ждём: авось будет лучше... доколе же? Ин и в самом деле Правды на свете нет! так только, попусту, люди болтают: «Правда, Правда...», а где она?!

— Намёднись начётчик один в Москвѣ говорил мне: «Правда — у нас в сердцах; живите по правде — и вам и всем хорошо будет».

— Сыт, должно быть, этот начётчик, оттого и мѣлет.

— А может, и господя набаловали. Простой, дѣскать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.

В это время навстрѣчу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочесть: от Москвы 18, от станицы Рудаки 3 версты.

— Что ж, в поле отдохнём? — спросил Иван. — Вон и стожок близко.

— Известно, в поле, а то где ж? в деревне, что ли, харчиться?

Товарищи свернули с дороги и сѣли под тенью старого, накренившегося стога.

— Есть же люди, — заметил Иван, снимая лапти, — у которых ещё старое сѣно осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приѣли.

Начали полдничать; добыли воды да хлеб из мешков вы-

нули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись.

— Смотри, Фёдя, — молвил Иван, укладываясь и позёывая, — во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам...

БОГАТЫРЬ

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вскормила, выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: иди, Богатырь, совершай подвиги!

Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит — он его с корнем вырвал; видит, другой стоит — он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нём дупло — залёз Богатырь в дупло и заснул.

Застонала мать зелёная дубравушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами — и был таков.

Прошла слава про Богатыря по всей земле. И свой, и чужие, и други, и супостаты не надвоятся на него: свой боятся вообще потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залёг, чтоб ещё больше во сне сил набраться: «Вот ужó проснётся наш Богатырь, и нас перед всем миром воспрославит». Чужие в свой черёд опасаются: слышь, мол, какой стон по земле пошёл — никак, в «оной» земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснётся!

И все ходят кругом на цыпочках и шёпотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»

И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ёхала-ёхала да, наконец, и приехала. Синица хвасталась-хвасталась да и в самом деле моря не зажгла.

Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: аў, мужик!

Всё приделали, всё прикончили; друг дружку обворовали начисто — шабаш! А Богатырь всё спит, всё незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекастистые храпы кругом на сто верст пушает.

Долго глядели супостаты, долго думали: могущественна, должно быть, оная страна, в коей боится Богатыря за то только, что он в дупле спит!

Однако стали помалёнку умом-разумом раскидывать: начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие: и ни разу Богатырь не пришёл на выручку людISHкам.

В таком-то году людISHки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народа зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он вместо того в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придёт Богатырь, мирских людей накормит, а он вместо того в дупле просидел. В таком-то году и городá, и селенья огнём попалило, не стало у людISHек ни крова, ни одёжи, ни ёжева; думали: вот придёт Богатырь и мирскую нужду исправит — а он и тут в дупле проспал.

Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повёл, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.

Что ж это за Богатырь такой?

Многострадальная и долготерпеливая была оная сторона и имела веру великую и неослабную. Плакала — и верила; вздыхала — и верила. Верила, что когда источник слёз и вздыханий иссякнет, то Богатырь улучит мину́ту и спасёт её. И вот мину́та наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил — воняет; другой



подошёл — тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на страну.

Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили всё, что попадало навстрёчу, мстя за тот смешной, вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстрёчу супостату — глядят, идти не с чем.

И вспомнили тут про Богатыря и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»

Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрчими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не выпускала, от которых некогда содрогалась мать зелёная дубравушка.

Подошёл в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешёл дупло кулаком — смотрит, а у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.

Спи, Богатырь, спи!

ВОРОН-ЧЕЛОБИТЧИК

(Сказка)

Всё сердце у старого ворона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьёт. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само воронье измалодушничалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет: осиплют вороны гурьбой берёзу и кричат зря: вот мы где! Натурально, сейчас — паф! — и десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней, привольной, тоже не стало. Леса кругом повыврубили, болота высушили, зверье угнали — никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, по скотным дворам шнырять. А за это опять — паф! — и опять десятка или двух в стае как не бывало! Хорошо ещё, что вороны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платил?

Начнёт он, старик, своих младших собратий увещавать:

«Не каркайте зря! не летайте по чужим огородам!» — да только один ответ слышит: «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! нельзя, по нынешнему времени, не воровать. И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут: дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам! Мы ещё где до свету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим — везде хоть шаром покати. Ни ягоды лесной, ни пичуги малой, ни зверя упалого. Даже червь и тот в землю зарылся».

Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала вороний род бескормица; без числа воронье погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти — рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься! Однако и тогда уж было примётно, что недолго воронье эту школу выдержит. Смотреть, как другие живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода — от одного этого хоть чье хочешь сердце изобет.

И наука, кстати, на помощь пришла: клюй, что можешь и где можешь! Удастся набить зоб — летай на свободе сытый и весёлый; не удастся — висй простреленный на огороде вместо чучела! На то война.

Когда принёс его сюда, едва оперившегося, старый батюка из-за тридцати морей, места здесь были вольные. Лес да вода — и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверя, птицы — всего вдоволь; в воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб, но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал: сегодня из одного гнезда унесёт воронёнка, завтра из другого; а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подати тогда были не тяжёлые: по яйцу с гнезда, да по перу с крыла,

да с ка́ждых десяти гнёзд по воронёнку орлу́ в презент. Отбыл повинность — и спи на оба уха.

Но чем да́льше шло, тем глۇ́бже и глۇ́бже всё изменялось. Облюбовал вольные места́ человек и начал с того́, что пустил в ход топор. Леса́ поредели, болота́ ста́ли затягиваться, река́ обмелела. Сначала́ по бе́регу реки́ появи́лись займки *, пото́м дере́вни, се́ла, поме́щицы уса́дбы. Стук топора́ гу́лким эхом раздава́лся в глубина́х лесных, наруша́я обы́чное течёние жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего плёмени уже́ тогда́ предска́зывали, что грозит что́-то недобро́е, но молодое́ вороньё с весёлым ка́рканьем кружи́лось о́коло челове́ческих жилищ, сло́вно привётствуя пришельцев. Стро́гие заветы́ прёдков наскучили молоды́м сердца́м; лесные́ глубины́ опосты́лели. Потрёбовалось но́вое, диковинное, неизве́данное. Вороньё раздели́лось на па́ртин; начали́сь пререка́ния, усоби́цы, рознь...

Одновременно с э́тими изменёниями произошли́ изменёния и в вы́сших орнитологических сфе́рах. Stáрый ястреб оказа́лся стоящим не на высоте́ своей зада́чи. Он мог управля́ть то́лько при патриарха́льных порядках, но когда́ отноше́ния усложни́лись, когда́ на ка́ждом шагу́ в вороньё существова́ние врыва́лись но́вые элемен́ты, административное чутьё оконча́тельно его́ покинуло. Главные нача́льники называ́ли его́ ста́рым колпако́м; вороньё оспари́вало его́ власть и бесцеремо́нно ка́ркало ему́ в уши́ всякую чепуху́. Он же, вме́сто того́ чтоб пресе́чь зло в са́мом ко́рне, то́лько благоскло́нно хло́пал гла́зами и шу́тя говори́л: вот ужó придёт рефо́рма, узна́ете вы, как ку́зькину мать зову́т! Наконёц и ожида́емая рефо́рма пришла́. Старика́ сда́ли в архив, а присла́ли вме́сто него́ нача́льником совсе́м молодого́ ястреба, да в по́мощь к нему́, в ви́дах пу́щего контро́ля, поста́вили крече́та.

Прилетели́ но́вые нача́льники и сказа́ли вороньему плёмени немилостивое сло́во. «Я вас к одному́ знаменате́лю приве́дú!» — цы́кнул ястреб, а крече́т приба́вил: «И я то́же». Ска́завши э́то, объя́вили, что оти́ные нало́ги увели́чиваются про́тив пре́жнего втро́е, выда́ли окладные́ листы́ и улетели́.

Началось окончательное разорение. Воронье роптало: «Налёги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили!» — раздавалось по лесу; но ни ястреб, ни крик не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря пустые речи в народ пускают. Много было тогда гнезд разорено, много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что воронье, испугавшись, на хвосте дани принесёт. Но воронье от испуга только металось и жалобно каркало: «Хоть режьте, хоть стреляйте, а даней нам взять неоткуда!»

Так оно и посейчас идёт: воронье разоряется, а казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было воронье новых мест искать и летунов вперёд для разведок отпустило, но они улететь улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и шутка сказать — с насыженных мест неизвестно куда лететь! Нет иначе вольных мест! всюду проник человек! И ему тесно стало. Идёт вперёд с топором; стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожидание, когда-то вся эта суетолака в порядок придёт.

Думал-думал старый ворон и наконец надумал: надо лететь всю правду объявить. Только стар он и слаб — долетит ли? Ведь лететь — дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом крикете, а наконец, и к коршуну, который в ту пору вороньим племенем, вроде как начальник края, правил.

У птиц тоже, как у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: был ли у ястреба? был ли у крикета? а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прославёшь.

Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит.

— Здравствуй, старче! — приветствовал его ястреб благодушно. — За чём пожаловал?

— Прилетел я к твоему степенству правду объявить! — горячо закаркал старый ворон. — Гибнет вороний род! гибнет! человек его истребляет, дани немилостивые разоряют, копчики донимают... Мрёт вороний род, а кои и живы — и тем прокормиться нечем.

— Вот как! А не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний род опрокинулись?

— Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живём в трудах, как честному воронью жить надлежит, только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало.

Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал:

— Изворачивайтесь!

Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало ворона.

— Знаю я, что нынче все изворотами живут, — горячо ответил он, — да прост на это наш вороний род. Другие миллионы крадут, и всё им как с гуся вода, а ворона украдёт копейку — ей за это смерть. Подумай, разве это не злодейство: за копейку — смерть. А ты ещё учишь: изворачивайтесь! Прислан ты к нам начальником, чтоб защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем! Докóле мы будем терпеть? Ведь ежели мы...

Ворон не договорил и испугался: не легко, видно, правду-то объявлять.

Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно.

— Знаю, не договаривай, — сказал он, — давно мы эту песню слышим, да покуда бог ещё миловал... А ты всё-таки на ус себе намотай: прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся... Всё ли ты сказал?

— Всё покамест, — отвечал ворон, продолжая робеть.

— Ну, так я тебе вот что отвечу: правда твоя давно всем известна; не только вам, воронам, а и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не ко двору она в наше время пришлась, а потому, сколько об ней ни объявляй, хоть на всех перекрёстках кричи — ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится, — этого куда никто не знает. Понял?

— Понял я одно: что вороньему роду конец пришёл! — с горечью ответил ворон.

— Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет, — но разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал — а мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох — и палит в нас: что вздумается, то над нами и делает. Мы всё равно что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнёт, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевёртываются. Каким таким манёром случилось, что Губошлёпов дороге заполучил, а у них после того по гривне в кошелё убавилось — разве тёмный человек может это понять? А дело-то простое: Губошлёпов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе копать умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червь жить подобает. Червь и вы, воронье, потачки не даёте: вспомни-ка! что, если б он на вас гвалт поднял, не вы ли бы первые удивились: червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает! Так-то, старче! Кто одолеет, тот и прав. Понял теперь?

— Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! — затосковал ворон.

— Жестоко ли моё слово или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утай. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий в расчёт принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корм у вас на лету отнимают, что я сам, ястреб, ваши гнезда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж: вы кормитесь хо-

тите — и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее — вы бы нас ели, а мы сильнее — мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою; только моя правда вообще совершается, а твой за облаками летает. Понял?

— Погибать, погибать надо! — продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребовых речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое.

Ястреб оглянул челобичика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком.

— А хочешь, я тебя съем! — сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал: — Ну тебя! тош ты и стар — какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет!

Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуха, ни перьев нет — волк голодный и тот на такую птицу не позарится.

— Вот видишь, какой ты стал. А всё оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи, без думы жил — такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты ещё, что поборы с вас, воронья, немилостивые берут, — и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики — много ли они могут дать? Рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки — эти живут каждый сам по себе, их и днём с огнём не отыщешь. Одно воронье живёт обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает — что же удивительного, что оно в ревизские сказки* попало? А коли попал в ревизские сказки — держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше — и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче — на это отвечает ваше воронье житьё. Ну, а теперь лети восвойси, а я вздремнуть хочу.

Однако ворон не возвратился восвойси, а направил полёт к кречету.

«Будь что будет,— думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями,— а я доведу дело до конца! Если и кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому коршуну, а от правды не отступлюсь!»

Кречет жил в впадине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его жилища сидел дежурный копчик и принимал просителей. На этот раз дежурным оказался известный всему вороньему роду копчик Иван Иванович, фаворит кречета (слухи шли даже, что он его побочный сын), который поручал ему самые важные и секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь был и побалагурить, и кутинуть где-нибудь за облачком, и полетать с девушками-чечеточками в горелки, и даже одолжение другу-приятелю сделать; но всё это благодушие оставалось при нём лишь до тех пор, куда он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей (особливо секретных поручений), то мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь — он настигнет; прикажут удавить — задавит. Если птица и вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та загодя начинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха.

— Не проспался, старик? — иронически приветствовал челобитчика Иван Иванович.

Старый ворон понял, что здесь уже всё известно. И у птиц существуют свои лазутчики, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны.

— Какой уж у стариков сон! — уклончиво отвечал он.

— Правду объявлять прилетёл? — продолжал копчик. — Ну, да, впрочем, это твоё дело. Доложить?

— Да, уж сделай такую милость.

Ивѣнъ Ивѣнычъ юркнулъ въ впадину и около часа там оставался. Воронъ съ замираниемъ сердца ждалъ его появленія. Наконецъ онъ показѣлся.

— Вѣлено тебѣ сказать, — молвилъ онъ, — что растаба́рывать съ тобою некогда. Правда твоя исконно всемъ извѣстна, да, стало быть, есть въ ней порокъ, ежели она сама собою не проявляется. Беспокойный у тебя нравъ, пустые ты рѣчи въ народъ пущаешь. Давно бы за это съестъ тебя надо, да, слышь, стар ты, худ и немощен. Къ начальнику края, чай, тепѣрь полетишь?

— Нетъ ужъ, что ужъ... — хотѣлъ было утайтись воронъ.

— Не запирайся! насквозь я тебя вижу! Что же, лети! только какъ бы тебѣ очи за твою правду не выклевали. Смотри не прогадай! Да ты, поди, и дороги не знаешь; видишь вонъ облако, там, над самымъ этимъ облакомъ, — там и есть.

Несмотря на предсказаніе копчика, воронъ рѣшился довести свое челобитіе до конца. Долгимъ и кружнымъ путемъ взбирался онъ, ноцую въ покинутыхъ звериныхъ норахъ и пропитываясь ягодами, изредка попадавшими на отрогахъ гор. Наконецъ онъ врѣзался въ облако, и передъ глазами его предстало волшебное зрѣлище.

Нѣсколько смежныхъ горныхъ вершинъ, покрытыхъ снѣгомъ, пламенили въ лучахъ восходящаго солнца. Издали казались точно сказочный замокъ, у подножія котораго застыли облака, а наверху вмѣсто крыши расстилалась бесконечная небесная лазурь.

Коршунъ сидѣлъ на скалѣ, окруженный цѣлою массой разнообразнѣйшихъ птицъ. По правую сторону его сидѣлъ бѣлый крѣчетъ, помощникъ его и совѣтникъ; у ногъ кувыркались всехъ сортовъ чиновники особыхъ порученій: попугаи, учѣные снегиріи и чижи; съзади хоръ скворцовъ докладывалъ утреннюю почту; въ сторонкѣ, на отдѣльной вершинѣ, дремали совы, филины и нетопыри, образуя изъ себя нечто вроде губернскаго совѣта; вороны во множествѣ мелькали вдаль, съ перьями за ушами, строчили указы, предписанія и донесенія и кричали: «С пѣлу, с жару, по пятачку за пару!»



Коршун был вѣтхий старик и от старости едва-едва скрипѣлъ клѣвомъ. В ту минуту, когда у ногъ его опустился воронъ, онъ только что пообѣдалъ и въ полудремѣ, смеживъ очи, покачивалъ головою, несмотря на оглушающій говоръ и шумъ. Однако появленіе челоуѣтчика произвело среди птицъ нѣкоторый переполохъ, благодаря которому коршунъ встрепенулся.

— С просьбицей, старче? — спросилъ онъ ворона ласково.

— Прилетѣлъ я из-за тридцати земель правду твоему великостепенству объявить! — началъ воронъ восторженно, но тут же былъ остановленъ крѣчетомъ.

— Не разводи риторики! — холодно прервалъ его послѣдній. — Докладывай дѣло безъ украшеній, ясно, просто, по пунктамъ. Что тебѣ надобно?

Началъ воронъ по пунктамъ свое челоуѣтство излагать: человекъ вороній родъ истребляетъ, копчики, ястреба, крѣчета донимаютъ, сборы немилостивые разоряютъ... И каждый разъ, какъ кончитъ онъ одинъ пунктъ, коршунъ поскрипитъ клѣвомъ и молвитъ:

— Правда твоя, старче!

Сердце играло въ груди стараго ворона при этихъ подтвержденіяхъ. «Наконѣцъ-то, — думалось ему, — увижу я эту правду, по которой сызмлада тоскую! Послужу своему племени, поревниую за него!» И чемъ дальше лилось его слово, темъ горячее и горячее оно звучало. Наконѣцъ онъ высказалъ все, что у него было на душѣ, и замолкъ.

— Все ли ты сказалъ? — спросилъ его коршунъ.

— Все, — отвѣтилъ воронъ.

— У ястреба, у крѣчета челомъ билъ?

— Билъ и у нихъ.

Онъ кратко изложилъ свой разговоръ съ ястребомъ, а также свое неудавшееся свиданіе съ крѣчетомъ.

— Такъ вотъ что я тебѣ на твою правду скажу, — молвилъ коршунъ, — больше двухсотъ летъ я сижу на этомъ утѣсѣ и хоть бочкомъ да на солнцѣ смотрю... Но Правдѣ и до сихъ поръ ни разу взглянуть въ лицо не могъ.

— Но почему же? — въ недоумѣніи каркнулъ воронъ.

— А потому, что вместить её птице не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить её должен; а мы, стало быть, не может выполнить — оттого и смотрим на неё исподлбья. Думается: авось-либо она мимо пройдёт!

Коршун на минуту задумался и продолжал:

— Жестокое тебе слово ястреб сказал, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время и не на всяком месте её слушать пригоже. Иных она в соблазн ввести может, другим — вроде укоризны покажется. Иной и рад бы правде послужить, да как к ней с пустыми руками приступить! Правда не ворона — за хвост её не ухватишь. Посмотри кругом — везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идёт... Оттого каждый и ссылается на *свою* личную правду. Но придёт время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна, — тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются, как дым, и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придёт и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбё. Так-то, старик! А куда летить с миром и объяви вороньему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь.



ПРИМЕЧАНИЯ

Книгу сказок Щедрина писал на протяжении восемнадцати лет. Первые три сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик» были написаны в 1869 году и опубликованы тогда же, в книге II и III журнала «Отечественные записки», под заголовком: «Для детей». После этого к сказкам Щедрина не обращался более десяти лет. В 1880 году он написал сказку «Игрушечного дела людishки» и опубликовал её в журнале «Отечественные записки» № 1. Она была задумана как начало цикла о людях-куклах, но продолжения этот цикл не имел. С 1882 по 1886 год Щедриным было написано большинство сказок. Всего их в книгу сказок входит тридцать две. Публиковать сказки удавалось с большим трудом, и часто в искажённом виде, о чём свидетельствуют письма Щедрина тех лет. Большинство сказок Щедрина по приказу цензуры вырывалось из журнала. Они потом выходили в нелегальных изданиях за границей и в России. Сказка «Богатырь» была напечатана только в 1922 году.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Служил в школе военных кантонистов — в школе для солдатских сыновей. Такие школы были созданы при Петре I. Существовали до 1856 года. Режим в них был крайне суров.

«Московские ведомости» — реакционная газета, редактируемая Н. Катковым в 70—80-е годы.

Пякули — мелкие овощи, маринованные в уксусе.

Вавилонское столпотворение — библейское сказание о том, как жители Вавилонского царства были наказаны за то, что хотели построить башню до неба. Бог смешал их языки, и они перестали друг друга понимать.

На бобах разводить — то есть гадать.

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

Временнообязанные — после реформы 1861 года крестьян освобождали от крепостной зависимости, но они обязаны были работать на помещика за право пользования землёй.

Без винной и соляной регалий — без государственной монополии на вино и соль.

Пахнет водворением — смёлкой.

Древний Исав — по библейскому преданию, один из родоначальников еврейского народа.

ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ

Ардовы веки — долгие века. По имени библейского патриарха Иорда, который, по преданию, прожил 962 года.

Жизнью жуировать — наслаждаться.

Жизнь прожить — не то, что мутовку облизать. — *Мутовка* — деревянный предмет для взбалтывания жидкости. Переиначенная пословица: «Жизнь прожить — не поле перейти».

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Амантом оставил — заложником.

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

Скрижали Истории — по библейским преданиям, каменные плиты, где были записаны десять божьих заповедей. Выражение употребляется в смысле увековечивания того или иного события или лица.

Как кúзькину тѣщу зовут — переименованная пословица: «Кúзькину мать зовут»; угроза расправиться с виноватым.

Сколько прогóнов и порциóнов извёл — денег на проезд и пропитание.

Кóрни и нѣти разы́скивать да кста́ти цѣлый лес о́снов о́йворотил. — Намёк на реакционную пресси́, требовавшую отыскания «корней крамóлы» и защиты «оси́ов» существующего социального строя.

Инфантѣрци (итал.) — пехóте; в данном случае — отчислить в запáс.

Лесные кура́нты тискал — печатал газету «Врѣмя».

При Магнѣйском. — Магнийский М. Л. (1778—1855) — известный мракобѣс, гонитель просвещения, друг Аракче́ева.

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

В эмпирѣях не витáла — в мечтáх.

Партикуля́рный челове́к — штáтский.

«Вперѣд без стáха и сомнѣнѣя!» — стрóка из стихотворения А. Плещѣева, ставшего затѣм пѣсней прогрессивной молодѣжи.

С Макарóм теля́т не гонѣющим познако́мились — с ссы́лкой за политические убеждения.

Агломерáт (лат.) — скоплѣние, соединѣние.

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

Панегѣ́рик (греч.) — хвалѣбная речь.

Ревѣ́зские скáзки — переписные листы́, учиты́вающие ко́личество населѣния. Перепись населѣния — ревѣ́зия проводѣлась с разлѣчными цѣ́лями.

Окладные листы́ — нало́говые.

«Нау́ки юношей пита́ют» — «Нау́ки юношей пита́ют, о́траду стáрцам пода́ют». Из óды М. В. Ломоно́сова (1747).

Куни́тѣйки (нем.) — фо́кусы.

Генеалóгия (греч.) — родослóвная.

Запрѣтали его́ в куро́лѣску — в кѣ́тку.

ВЕРНЫЙ ТРЕЗОР

Масонский знак — то есть знак принадлежности к масонскому религиозно-мистическому движению, распространённому в Европе в XVIII веке, а в России в первой половине XIX века. Масоны в России считались политическими вольнодумцами и преследовались правительством.

СОСЕДИ

От акциза одинаково свободны были — от налога.

С первого же абцуга — с первого захода.

ВОРОН-ЧЕЛОБИТЧИК

Займки — земельные участки.

Ревизские сказки — см. примеч. к «Орлу-мещанину».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Горькина. Боевая сатира</i>	5
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил	19
Дикий помещик	29
Премудрый пескάρь	38
Самоотверженный заяц	45
Медведь на воеводстве	51
Вяленая вобла	64
Орёл-меченат	77
Карась-идеалист	87
Верный Трезор	101
Недреманное око	109
Соседи	115
Либерал	122
Баран-непомнящий	128
Коняга	134
Деревенский пожар (<i>Ни то сказка, ни то быль</i>)	142
Путём-дорогою (<i>Разговор</i>)	150
Богатырь	155
Ворон-челобитчик (<i>Сказка</i>)	158
<i>Примечания</i>	170

Для восьмилетней и средней школы

Михаил Егорович Салтыков-Щедрин

ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ

Сказки

Составитель

Мария Сергеевна Горячкина

Ответственный редактор

Г. В. Кузнецова

Художественный редактор

С. И. Нижняя

Технический редактор

В. К. Егорова

Корректоры

Е. Б. Кайрухтис и

З. С. Ульянова

Сдано в набор 24/І 1973 г. Подписано
к печати 28/IV 1973 г. Формат 60х84¹/₁₆.
Бум. типогр. № 2. Печ. л. 11, Усл. печ.
л. 10,23. (Уч.-изд. л. 8,62). Тираж 100 000
экз. Заказ № 119. Цена 39 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Детская литература»,
Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени
фабрика «Детская книга» № 1 Росглав-
полиграфпрома Государственного коми-
тета Совета Министров РСФСР по де-
лам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли. Москва, Сушевский
вал, 49.

Салтыков-Щедрин М. Е.

- С16** Премудрый пескарь. Сказки. Сост. вступ. ст. и примеч. М. С. Горячкиной. Рис. М. Скобелева и А. Елисеева. М., «Дет. лит.», 1973.

174 с. с ил. (Школьная б-ка для нерусских школ).

В сборник вошли следующие сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикый помещик», «Премудрый пескарь» и другие. Сказки Салтыкова-Щедрина рисуют не просто злых и добрых людей, борьбу добра и зла, как большинство народных сказок тех лет, они раскрывают классовую борьбу в России второй половины XIX века, в эпоху становления буржуазного строя.

C16

2002

Цена 39 коп.